Юрий Волков

СВЕТ НАД ТЕНГИЗОМ

Повести о делах и людях партии



Политиздат



Юрий Волков. СВЕТ НАД ТЕНГИЗОМ

Повести о делах и людях партии

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Юрий Волков

СВЕТ НАД ТЕНГИЗОМ

МОСКВА
1976

32С5
В67

Волков Ю. В.

В67 Свет над Тенгизом. М., Политиздат, 1976.

167 с. (Повести о делах и людях партии).

В $\frac{11301-162}{079(02)-76}$ 133—76 32С5

Освоение целинных и залежных земель — яркая страница славных деяний советского народа.

Л. И. БРЕЖНЕВ

Пролог

Дремлют белоголовые ковыли в жаркий июльский день. Поутру потянет с Тенгиза тихая воздушная волна с запахом рыбы, озерной тины и, ласково погладив легкие гривы вызревших трав, уйдет в степь и замрет там.

Снова дремлют белоголовые ковыли.

А с полудня из степи пойдет терпкая травяная марь на Тенгиз и, взъерошив водную гладь, оживит зеленоватое зеркало вод, приклонят прибрежные камыши свои серые султаны к говорливой волне.

К закату снова оживет степь от тяжкого зноя, и легкий ветерок с Тенгиза понесет степную пыльцу в далекие дали, всколыхнув тополевый лист на центральных усадьбах Абаевского и Калининского совхозов. Слева широким крылом обмахнет он белесо-голубоватые разливы пыреев Сантаса, неоглядное таволожье овражистого Таболгасая, крутые увалы синеватого сопочника Байджигита и уйдет в раздолье Кипчакского плато.

А правой стороной заберет тенгизский бриз поразмашистей, разнося вечернюю свежесть по всей шири Ушаковского, Буревест-

ненского, Армавирского, Краснознаменского целинных совхозов, и потянет все далее, в пределы древнего Тургая.

Неприметной, тихой жизнью живет степь от первой майской зелени до той поры, когда поднимутся травы и хлеба, заиграют неохватной зыбью. Не дремли, человек, бери, сколько тебе надо, моего богатства. Возьмешь ли, успеешь, не поленишься?..

Велика, необозрима степь. И уж очень небольшим покажется в ней человек.

С легким далеким урчанием вывернется из-за косогора квадратной черепашкой совхозная летучка или какая-нибудь другая машина, оставляя за собой шлейф густой дорожной пыли. Выйдет из нее человек, подойдет к хлебной обочине, пощупает зреющие колоски, удовлетворенно закурит, оглядывая степь, и снова исчезнет в кабине. Опять поплывет потревоженная дорожная пыль. Уже по лугам бежит машина. И снова выйдет человек, хозяйски примеряя к кирзовому голенищу высоту трав.

Да, есть хозяин у этой степи.

I

Партийное собрание

В начале сороковины — так называют у нас время с десятого июля по двадцатое августа — в совхозе намечалось открытое партийное собрание. Из трех отделений с заготовкой кормов хорошо справлялись два: первое и третье, второе же поотстало, и это вызывало беспокойство коммунистов. Лучшая пора сенокоса утекала вместе с драгоценными соками трав.

Тревога передавалась из уст в уста, и люди ощутили потребность поговорить о волнующем их деле широко и открыто. Партийный комитет заранее постарался подготовить к собранию не только коммунистов, но и наиболее активных беспартийных товарищей. Членам парткома и народным контролерам было поручено проследить за режимом рабочего дня в отделении, обеспеченностью техникой, запчастями, рабочей силой и многими иными сторонами хозяйственной деятельности косарей.

Солнце давно уже ушло за кромку земли. Будто спеша покрасоваться, на восточной половине свода замерцали звезды. А у совхозного клуба, не замечая угаснувшего дня, плотно кучились люди. И шуткой, и дельным словом разносилась в тишине разноголосая речь. Неподалеку от входа в клуб прохаживался старик Шуршилин. Он был неширок костью, среднего роста, а на длинно-

ватой иссушенной шее всегда горделиво держалась голова. Старик знал себе цену, хотя в общении всегда был прост, не кичлив, не чурался шутки. В совхозе его любили и уважали за умелые руки: не припомнить такого занятия по дереву, с которым бы он не справился. Через него прошли почти все плотницкие дела совхоза — от дойной скамеечки до жилых домов.

Сейчас на груди его красовалась медаль «За трудовую доблесть», лицо чисто выбрито. Весь он выглядел собранным, каким-то праздничным.

— Вот и лектор явился при всех регалиях,— заметил острый на слово Лешка Данилов.

— Не балагурь! — строго окоротил его Шуршилин.— Тут тебе не вечеринка, на серьезное дело народ собирается. А это одето по поводу,— добавил он,— притрагиваясь к медали.— К тому ж и солнышка нет, ленточка не выгорает.— Он откашлялся и сказал, теперь уже обращаясь ко всем: — Я же говорил, что без партсобрания нам не обойтись.

— Вот именно,— снова встрял Лешка Данилов.— Слово предоставляется ветерану совхоза товарищу Шуршилину.

— Ты перестань скоморошничать,— отмахнулся от него старик.— В головах мысли поумней бродют. Вот, скажем, такое надо разобрать, что твоему уму и не постижимо.

— Это что же такое?

— Вот ты, умная голова, скажи-ка на милость: из чего состоит трава?

Все насторожились, предвкушая что-то забавное. Лешка, скорчив глубокомысленный вид, малость подумал и выпалил:

— Трава, дядя Аким, состоит из травы.

— Из травы! — иронически покачав головой, сказал Шуршилин.— Вот и видно, что сам ты трын-трава, а трын-траву ни одна умная скотина жрать не будет.

Всех развеселила шутка старика, а Шуршилин с озадаченным лицом стал невнятно шевелить губами, будто вспоминая что-то очень важное.

— Вот молодой ты, а без свежести,— вдруг решительно обратился он к Данилову.— А слово такое, схожее, кажись, с протезами, слыхивал?

Вокруг засмеялись, но Лешка Данилов предупредительно поднял руку:

— Товарищи! Первый вопрос повестки дня: роль деревянных протезов в повышении надоев.

Когда новый взрыв смеха утих, старик наставительно произнес:

— Так ведь это понимать надо: для простоты сказано, а выходит, что протезином называется.

— Протеином, дядя Аким, а не протезином,— примирительно сказал Данилов.

— Вот то-то ж и оно, а сопротивляешься,— победно заключил старик и хотел было отойти в сторону, но его остановили.

— Постой-ка, дядя Аким, дельце у нас. Мы так думаем, что Проскурина надо председателем собрания избрать.

— А парторга? — спросил кто-то.

— Так ведь в больнице он. А другого кого избери — до третьих петухов заседать будем.

— Дело говоришь,—одобрил старик Шуршилин, теребя чисто выбритый подбородок.— Этот говорильки не любит. Любого присекет. А вообще-то как порешит собрание.

Открыл его заместитель секретаря парткома главный инженер совхоза Василий Петрович Куликов. Коротко осветив предстоящие задачи по заготовке кормов во втором отделении и по совхозу в целом, он закончил так:

— Одним словом, работа предстоит очень ответственная и нелегкая. Судя по всему, задачу эту еще не каждый из нас продумал во всей ее сложности и личной ответственности. Вот и поговорим сегодня об этом. Для ведения собрания прошу избрать президиум...

Председателем собрания коммунисты избрали механика Михаила Даниловича Проскурина, человека небольшого роста, суховатого и неширокого в плечах.

— Товарищи,— глуховатым голосом начал он,— для длинных пересудов у нас времени нет. Люди устают, им отдыхать надо. Полагаю, длинных докладов устраивать не следует. На повестке дня у нас с вами один вопрос: «О неудовлетворительном ходе сеноуборки во втором отделении». Вопрос, как видите, очень серьезный. Прошу всех быть активными и говорить только по делу. Думаю, что вначале заслушаем информацию управляющего вторым отделением товарища Смаилова.

Предложение Проскурина пришлось людям по душе, и коммунисты поддержали его единогласно.

На трибуну бодро поднялся управляющий вторым отделением Смаилов. Обведя взглядом президиум, зал, он неторопливо раскрыл свой блокнот — тот самый толстый блокнот, с которым никогда не расставался и который люди прозвали «телевизором». Все цифровые данные добросовестно вносились в «телевизор» бухгалтером отделения. Это тоже знали все, но не осуждали: хорошо, что все записано. Но начал Смаилов не с цифр.

— Товарищи! Корма являются сырьем для производства продукции животноводства, и мы переживаем сейчас тот исторический момент, когда...

Проскурин постучал карандашом по графину:

— Товарищ Смаилов, давайте по существу!

Смаилов согласно кивнул головой и, перелистнув две страницы записей, неторопливо продолжал:

— В старом, дореволюционном Казахстане сена заготавливалось чуть больше, чем в одном нашем совхозе. Сейчас...

— Товарищ Смаилов! — сказал Проскурин.— Вы нам расскажите, как ведется заготовка кормов в вашем отделении.

Смаилов повернулся к президиуму, некоторое время молчал, собираясь с мыслями, и, поняв наконец, что разговор придется вести действительно по существу, сказал с оттенком претензии:

— Да у нас же, товарищ Проскурин, всего один пресс-подборщик в отделении. Разве успеешь затюковать все скошенное? — И, как бы прося сочувствия и поддержки, посмотрел в зал.

— Правильно,—согласился Проскурин.— У вас пресс один. А кто ж вам мешает возить непрессованное сено и скирдовать в местах зимовок?

В зале одобрительно загудели.

— Так ведь в других отделениях сено стогуют прямо на лугах, им близко до зимовок, и у них по два пресс-подборщика.

— Верно,— опять согласился Проскурин.— Но они же в два с лишним раза больше вас запрессовали и заскирдовали.

— Ладно, учтем,— нараспев ответил Смаилов и снова зашелестел блокнотом.

— На сегодняшний день мы скосили одну тысячу девятьсот гектаров ковыльных лугов, набрали более шести тысяч центнеров сена, из них запрессовано и перевезено к базам две тысячи пятьсот центнеров.

— А остальные тысячи центнеров где? — послышалось из зала.

— Как где? В валках лежат.

— Так это же пересохлая кострика! — выкрикнул Лешка Данилов, а старик Шуршилин укоризненно добавил:

— Значит, загубили протезин — эту самую полезную клетку. Стало быть, против науки?

Послышалось позвякивание графина.

— Прошу соблюдать порядок,— сказал председатель.

Смаилов оправдывался:

— У нас пяти косогонов не хватает.

— В огороде бузина, а в Киеве дядька,— снова загудел Лешка Данилов.

— Выходит, еще больше желаете протезину загублять, дай вам энти косогоны,— поддержал его старик Шуршилин.

В зале засмеялись над репликой плотника, а Проскурин, сдерживая улыбку, строго сказал:

— Порядок, товарищи! Потом выскажетесь. Какие у вас еще претензии? Для перевозки сена транспорта хватает? — обратился он к Смаилову.

— На сегодня, можно сказать, хватает.

— Если у вас все, послушаем, что скажут люди.

Первым взял слово член группы народного контроля, тракторист-машинист широкого профиля Лешка Данилов. И начал он с вопроса организации производства, сразу взяв, как говорится, быка за рога.

— Товарищи! Рабочий день нельзя начинать с поисков винтов, гаек и ключей, с узнавания задания на сегодняшний день и прочее. Человек должен подойти к машине, запустить двигатель, сесть и поехать, будучи уверенным, что машина проработает без осечек по крайней мере до обеда. Оно лучше, конечно, если и до вечера и завтра не выйдет из строя. А вот теперь я вам доложу...

И он заговорил о недостатках, которые мешали обеспечить высокие показатели в труде. Оказалось, что во втором отделении началом рабочего дня считали не первые

проблески утренней зари, а время, когда солнце уже в полторы-две сажени висело над землей. Люди вяло слонялись по табору в поисках каких-то деталей, о чем-то договаривались, прикидывали, и все это не спеша.

— Вот тут мы заговорили о пресс-подборщике,— продолжал Данилов, доставая помятый блокнотик.— Теперь смотрите, как он работает. Позавчера машина пошла в ход в одиннадцатом часу утра. Я справился: в чем дело? Пресс стоял, оказывается, из-за отсутствия проволоки. Может быть, проволоки у нас нет? Оказывается, есть, но подвезти ее вовремя никто не удосужился. Вывод напрашивается сам: если б в отделении было два подборщика, то простои увеличились бы вдвое.

Еще факт. Почему во втором отделении не вывозятся обеды в поле? Посуды ведь всяческой на таборе навалом — от ложек до термосов. Есть и машина-хозяйка. А получается, что косари с поднятыми полотнами едут обедать на табор за пять—семь километров. «Хозяйка» же простаивает в тени возле конторы отделения, а ее шофер читает «Графа Монте-Кристо».

Горе наше, товарищи, что такие простые вопросы мы не можем продумать по-хозяйски, все изыскиваем резервы, а резервов — хоть пруд пруди. И еще хочу сказать: Галина Коровкина подвозит на машине сено, где начали недавно стожки метать. Грузчиками у нее два студента, которые постоянно обливают мотор холодной водой. Иначе ездить нельзя: страшно греется, а ведь он только

что с капиталки. Смех, товарищи, или грех? А наладчика никто и не требует...

И, уже закончив выступление, Данилов не утерпел и в своей обычной манере бросил в зал:

— Завтра, может, нам прикрепят целый институт студентов для обливания наших моторов холодной водой...

В зале заметно оживились, а Проскурин, постучав по графину, заключил:

— Правильно, товарищи, он говорит,— и шутливо погрозил пальцем вслед уходящему Данилову.

На трибуну взошел тоже народный контролер, тракторист Александр Лунев. Вся внешность Лунева подчеркивала его непосредственное отношение к физическому труду. Ни новый зеленоватый костюм, ни белая рубашка с галстуком не меняли этого впечатления. Оказавшись на трибуне, он как-то угловато повернулся; чувствовалось, что не привык стоять на таком месте.

— Я, товарищи, коротко. Мы, как мне кажется, забыли тут один очень важный момент, и уверен, что со мной согласятся. Без сравнения результатов своего труда с результатами других товарищей работа получается вслепую, а это нарушение самого главного принципа соревнования.

— Гласности,— подсказал Проскурин.

— А почему так получается? Потому, что газеты и журналы мы получаем нерегулярно, а собственной стенгазеты совсем нету. Не выпускаются у нас ни «боевые листки», ни «молнии», ни «колючки» или «крокодилы».

В общем, в отделении никто этими вопросами не занимается. Не видим мы ни хороших примеров, ни плохих. А ведь нам интересно каждый день знать, что делается на соседних участках, и устанавливать ширину шага в общем строю. Ну вот у меня и все.

В это время открылась входная дверь, и к сцене торопливо зашагал моторист местной электростанции Николай Юров. По залу покатился женский шепот. Слышалось:

— Нюся...

— Нюся...

Десятки глаз впились в Юрова, а он с разведенными в сторону руками стоял, замешкавшись, не зная, говорить ли такое на весь зал?

— Дело у меня неотложное, товарищи,— наконец вымолвил Николай.— Пришел к вам за помощью. Как тут быть-то? У вас ведь не кино здесь, понимаю. А мне как?..

Кто-то перебил его:

— Мальчик или девочка?

— Да не то, Федоровна, еще только везти надо в участковую больницу, фельдшерица Паша настаивает. Трудненько там что-то...

И вдруг добрый голос старика Шуршилина прорезал зал:

— Так поспешай же, еловая твоя голова. Такое дело не терпит.

— Я же, дядя Аким, свет держу,— подняв руку к люстре, сказал Юров.

— Постой, Николай, обмозговать надо,— отозвался Проскурин, а затем привстал и спросил: — Товарищи! Кто на электростанции к мотору встать может?

— Встать — не штука,— отозвался Лешка Данилов.— Да ведь мотор какой-то мудреный там, с морского катера вроде, и капризный. Да ты к сменщику сходи,— обратился он к Юрову.

— Сменщик в отъезде, потому и пришел сюда,— ответил Юров.— Так как же мне, товарищи?

— Давай, Коля, так,— опять заговорил Проскурин.— Может быть, ехать тебе и не надо, а пошлем мы Лунева. Парень он, сам знаешь, надежный, ему человека доверить можно.

Юров постоял задумчиво, размышляя, но не о том, можно ли довериться Луневу, а о том, не осудят ли: ведь он же муж и отец. Потом посмотрел на яркую клубную люстру, так нужную сейчас людям, на их добродушные участливые лица.

— Ладно, я согласен.

— Как, товарищи, отпустим с собрания Лунева ради такого дела? — спросил Проскурин.

— Пусть идет...

— Отпускаем...

Лунев с Юровым уже подходили к выходу, когда Проскурин крикнул вдогонку:

— Не беспокойся, Коля, после собрания отвезу тебя на своей летучке, следом же.— И спокойно продолжил: — Не будем терять время, товарищи. Слово предоставляется коммунисту Петру Степановичу Мазуренко.

Мазуренко, бригадир тракторно-полеводческой бригады, легким и быстрым шагом поднялся на сцену и, не заходя на трибуну,

встал рядом с ней. Веские, дельные слова он укладывал, как добрую сочную траву в укосные ряды.

— Товарищи! Меня беспокоит вопрос, о котором нaдо было бы давно поговорить, да все как-то не было подходящего случая. Вот мы добываем корма, стараемся, чтобы их становилось больше. И случается так: смечем скирду тонн на сто, на двести — и по старинке прикидываем уже, сколько из этого выйдет молока и масла, шерсти и мяса? А если бы в переводе на домашнюю кухню, то так бы сказал: выбрасываем сало, а довольствуемся выжарками. А все потому, что кошанина у нас по три дня под солнцем пересушивается, будто в том только и интерес, что траву подвалить да высушить хорошенько. И совершенно прав тут Аким Трофимович, который за протеин душой болеет. Мы этим протеином солнышко да ветер степной кормим, да и не только им, но и другими ценными соками...

Он энергично взмахнул рукой в направлении зала. Видимо, ему хотелось назвать эти ценные соки своими именами, но он, вероятно, забыл их и, будто прося поддержки у старика Шуршилина, смотрел ему прямо в глаза. Старик виновато заерзал штанами по стулу, не обнаруживая готовности поддержать оратора. Мазуренко наконец припомнил и продолжал:

— ...Каротином и другими компонентами. Так в чем же здесь суть? А суть тут, по-моему, в том, что за качество кормов у сенозаготовителей голова не болит: скосил, де-

скать, столько-то гектаров, набрал столько-то центнеров сена и получил за свой труд. А какое получилось сено — неважно. Поэтому во втором отделении и не торопятся. Лето, мол, большое, успеем накосить. И другая сторона дела. Сено и вывозить-то не спешат: тоже, мол, успеем. А бывают годы, что и не успеваем. Тогда сама жизнь и постукивает тяжеленько нас по маковкам, напоминая не то сено, что в поле, а то, что дома.

Тут, кажется мне, надо до минимума сокращать сроки уборки трав, установить календарные сроки оплаты, то есть найти разницу в стоимости июньского, июльского и последующих укосов. Вот это и будет материальным стимулом, который ускорит сроки сенозаготовок. Прошу мое предложение записать в протокол.

Мазуренко все таким же быстрым шагом покинул сцену и прошел в зал.

В принятом постановлении были отражены все критические замечания выступавших, намечены пути исправления недостатков, мешающих продуктивной работе по заготовке кормов. Коммунисты поручили члену парткома, бригадиру тракторно-полеводческой бригады Петру Степановичу Мазуренко один раз в неделю проверять качество заготавливаемых кормов, обращая при этом особое внимание на устранение пересушки сена, своевременное его сгребание, стогование и доставку к местам зимовки скота.

Членам группы народного контроля трактористам Александру Луневу и Алексею Данилову ставилась задача обеспечить беспере-

бойность процесса тюкования сена, контролировать своевременную доставку запасных частей к сеноуборочной технике.

Было обращено особое внимание на культурно-бытовые запросы кормозаготовителей. Доставку на полевой стан газет и журналов, выпуск стенной печати с отражением в ней итогов социалистического соревнования между бригадами, звеньями и косарями поручалось организовать заместителю секретаря партийного комитета главному инженеру совхоза Василию Петровичу Куликову. Механику Михаилу Даниловичу Проскурину предстояло обеспечить наладку выходящей из строя сенозаготовительной техники, занятой на покосах второго отделения.

Остывала в ночной смуглости западная сторона небосклона, проявляя густую сетку звезд, а на севере уже чуть высвечивалась млечная кромка, чтобы через два-три часа ожить новой зарей.

Из клуба тянулись еще возбужденные, в завидном деловом настрое люди, расходясь по улицам и домам.

Небо обещало наутро вёдро.

На другой день, около полудня, заместитель секретаря парткома Куликов пригласил в контору учителей местной школы, которые проводили отпуск дома. Заговорил без предисловий.

— Вчера на партсобрании вы, конечно, были и догадываетесь, видимо, зачем вас пригласил. Не хотелось бы тревожить вас, отпускников, да время приспело горячее.

Он извинительно улыбнулся, помолчал, словно давал возможность осмыслить сказанное.

— Теперь в быт уже вошло: на селе в страдные дни без интеллигенции не обойтись. «Молнию» выпустить, «боевой листок», а понадобится — и критику с поводка спустить. Такое, значит, вот дело. Куда же нам без вас-то?

И снова замолчал. Присел к столу. Смугл и горбонос, с веселыми светло-голубыми глазами, в белоснежной льняной рубашке с расстегнутым воротом. Был он очень приятен за простое, доверительное отношение к людям. Не понукал, высокопарных слов не говорил и, видно, привык с людьми разговаривать попроще, на общем уровне. Сам он приехал на целину с первым эшелоном и прошел нелегкий путь от простого механизатора до главного инженера совхоза. Теперь и заместителем секретаря парткома его избрали.

Уловив молчаливое согласие учителей, Куликов продолжал:

— План заготовки кормов у нас напряженный, да и травы, особенно на заливных лугах во втором отделении, в самом соку — не перестояли бы. Знаю, что все поймете и не откажете. Думаю, без вреда для вашего отпуска: тут ведь приятное с полезным. Посмотрели бы, какая благодать в угодьях!

Он широко улыбнулся.

— Едем, значит, на покосы!..

Здесь же условились, кому с кем и куда ехать завтра поутру.

Мне достался самый дальний участок на берегу Тенгиза — урочище Таболгасай. Это от центральной усадьбы совхоза километров за сто. Зеленоватый чистовод Тенгиза раскинулся там на десятки километров в равнинной степи. На мелководьях этого степного моря — место гнездований редкостной птицы фламинго. Это поистине чудный житель нашего края. Мне не раз приходилось видеть эту птицу во всей ее неповторимой грациозности: в стойке или, того краше, в полете ключкой, когда по густой небесной сини огненной строчкой проплывает стая за стаей на пресноводье.

Побережье Тенгиза усеяно ржавой солянкой, а дальше начинаются остепненные луга, богатые тучными травами. До освоения целины здесь было царство ковыльно-типчаковых и полынно-злаковых трав. Теперь же почти всю притенгизскую долину заполнила пшеница. От горизонта до горизонта гуляет она на безбрежном степном просторе.

Извечные жители здешних мест — подслеповатые и неповоротливые сурки давно переселились с хлебных массивов на ковыли — хлеб для них не еда; и лишь по весне и летом сюда заходит степная антилопа — сайга. Стремительно, будто швейная машина, «строчит» она по разливам прибрежных пыреев и заворачивает в хлеб только тогда, когда приходится спасаться от жестокосердного человека, оседлавшего машину. Отбежит шагов на сто и остановится, низко опустив к земле желтоватую горбоносую морду. Попробуй взять ее: не разгонишь по пашне машину.

В этот приманчивый край и предстояло мне ехать с механиком Проскуриным.

Куликов мне сказал:

— Данилыч мотор там на уральце подлечит, пресс-подборщик отладит, а ты уж «молнию» поярче выпусти или «колючку» поострее. Да не проспи, пожалуйста. Проскурин ни свет ни заря — уже на ногах. Заодно искупаетесь там на Елизаровской даче.

Мне почему-то сразу вспомнился рассказ Проскурина о том, как купался он в Черном море, отдыхая в санатории. «Ну что это за купание,— говорил он.— Чтобы захватить место на пляже, нужно просыпаться затемно, когда и черти еще на кулачках не бились. И опять же: лежишь на песке, и каждый, кому не лень, переступает через тебя сколько угодно...»

Я пошел искать Проскурина, чтобы загодя договориться о завтрашней поездке. Ходил по совхозу долго, и всюду, где только ни спрашивал, мне отвечали, что был да сплыл. Наконец Лешка Данилов сказал мне:

— Вон же она, его летучка, возле медпункта стоит.

«Зачем Проскурину медпункт понадобился? Уж не беда ли стряслась со вчерашней роженицей?» Заспешив к летучке, я уже издали услышал голос Проскурина:

— Ты, Паша, надписи на каждом лекарстве сделай, чтобы знать, какое от чего, а то наглотаются от головы, а оно от желудка.

Подумалось: «Вот оно какое дело, не одну, стало быть, сельхозтехнику лечит Проскурин». А он аккуратно заворачивал в поло-

тенце пузырьки, пакетики и отправлял всю эту лекарственную премудрость в кожаный саквояжик. Завидев меня, заметно стрельнул глазом в мою сторону и, поспешно сунув поклажу в кабину на сиденье, холодновато поздоровался.

— Чую, чую... Куликова работа. Возить тебя по степи...

Потом, поняв, видимо, что такое начало могло и обидеть, тут же поправился:

— Собственно, тебя-то я и просил, зная, что Куликов все равно кого-нибудь будет посылать. Смотри не подведи: кого по шерсти, а кого и супротив... Печать, она хоть и стенная, а все же печать.

И, подобрев вдруг лицом, сообщил приятную новость:

— Нюся Юрова благополучно разрешилась сыном.

Затем улыбнулся, заговорил уже насчет выпуска сатирического листка на сенокосе. Коричневым пальцем на пыльной дверце кабины изобразил солнце, а под ним — лицом кверху верзилу. Показалось, что Проскурину юношеского задора не занимать.

...Вскоре летучка подкатила к моему крыльцу. На прощанье Проскурин «вежливо» бросил из кабины:

— Дрыхни спокойно. По утрянке разбужу в срок!

Спать мне пришлось совсем недолго, в июле сон до зари не велик, а Проскурин поднял меня, лишь обозначилась белесая кромка на восходе. Полный рассвет застал

нас уже в дороге. Заря размахнулась вовсю и, казалось, устилала румянами путь восходящему солнцу. А оно только за поселком — все в пурпуре — начало выклевываться из-за шоколадной кромки земли. Первый несмелый налетец ветерка пошевелил рослые травы, и пошли-загуляли по степи перемешанные запахи — узнавай только: мятные, васильковые, ковыльные и полынные, медовой кашки. А потом, когда по степи начал разливаться, волна за волной, солнечный свет, ударило навстречу крепким цветочным настоем.

Теперь мы мчались по ровной дороге, и степь кружилась по обе стороны, дурманила голову запашистыми травами, убегала назад синью молодых отав. Хозяйская рука поработала тут: выгребла и вывела с лугов прошлогоднюю траву — старику, подстригла под корень густую траву, сложила в стога свежее зеленое сено, о котором мужик привык с гордостью говорить: хоть в чай клади.

Летучка, поскрипывая будкой, катилась прытко и мягко. Ближе к Тенгизу растительность пошла богаче и разнообразнее; на смену густым зачесам ковылей и полыней потянулись кудрявые заросли таволожки, пырея, овсяницы, суданки луговой.

Справа показались чабанские юрты, отары овец, гурты коров, кое-где — лошадей. В цветистом разнотравье важно расхаживали одинокие верблюды и по-хозяйски посматривали по сторонам. Проскурин остановил машину и, выйдя из кабины, оглядел беспредельные дали.

— Богатство-то какое! Эх, травы, травы! Силенок многовато надо, чтобы хоть половину свалить да заготовить впрок. Гляди, сколько их!

Неподалеку, на чистом зеркале степного озера, плавали стаи диких гусей, уток.

— Линька сейчас у них,— сказал Проскурин.— Вишь, в камыши подались. Вот бы нашему совхозу такой гурт! Никаких тебе забот и расходов. А молодые уже в полгуся выросли. Охота по осени славная будет. Он пошел назад к машине и вдруг подскочил: прямо из-под его ног грузно вырвался с725 ваваканьем перепел.

— Во жиряк! — улыбнулся Проскурин.— Налился уже. И где только кормежку надыбал? Хлеба-то зеленые!

Уже, садясь за баранку, мечтательно продолжал:

— Если здраво рассуждать, у нас на Кубани природного ликования нисколько не меньше, а если по правде сказать, видно, и поболее. Здесь только простор пошире, за что и прирос всей душой. Люблю природу, да только обсказать ее не умею. Ведь постоянной нужды в этом мужик не ощущает. Когда вареники вкусные на блюде вдоволь лежат, говорить о них нечего, а вот когда я на фронте был, разговору о них много вели. И слова-то все какие-то аппетитные находились. Поговоришь, помечтаешь — и вроде в гостях у тещи побывал...

Да и сейчас он подбирал слова обдуманно, неторопливо, будто по мшистой болотной трясине шел, все нащупывая места понадеж-

нее. Летучку свою хвалил только тогда, когда под горку она набирала неимоверную для ее возраста скорость.

— Вишь, старушонка что делает? Под семьдесят берет.

Но когда дорога в мелкосопочнике становилась труднее — подъем, поворот, спуск, опять подъем — и машина еле взбиралась в гору, сокрушался:

— На профилактику бы поставить летучку, да за главным делом неглавное-то и делать некогда.

Под главным он подразумевал ремонт всей совхозной хлебоуборочной техники, за которую он отвечал как механик. Одних только комбайнов на его попечении более сотни. О них у него забота особая. Ведь главная техника на уборке! Вот и сейчас он вспомнил о ней.

— До самых жарких денечков еще далековато, а девяносто семь комбайнов уже на линейке готовности. Все до шплинта проверены. А как же иначе?

Я чувствую, что ему очень хочется об этом поговорить, но не из-за бахвальства, конечно. Просто приятно человеку, что в его хозяйстве все ладится. Не привык он с пустыми руками, праздно на хлебную страду выходить.

— У меня заведено так,— продолжает он,— подводить не люблю. Тебе поручено, с тебя, стало быть, и спросится.

Он помолчал, посмотрел из кабины на степь, нашарил в кармане беломорину и, разминая ее над баранкой, опять заговорил:

— Сам знаешь, что каждое лето беру комбайн и убираю хлеб. Сейчас, признаться, комбайн непроверенным еще стоит. Но это не проблема. Отлажу, застегну на все ремни-пряжки. О другом я. На человека надо тоже по-хозяйски посмотреть, потому что иной на дело по верхушкам глядит, ремонтирует комбайн кое-как, лишь бы уборку отходил. Вот в шоры его брать и приходится. И по-разному ведь берешь: одного, смотришь, словом проймешь, а другого приходится по карману бить. Машина — это же высшая хвала человеку. Читал, как товарищ Горький о комбайне пишет? — И, не дожидаясь ответа, просит: — Открой багажничек и прочти в голос, а я еще раз послушаю.

Я достал книгу без переплета — замасленную и захлюстанную. Листы в ней топорщились в разные стороны. Чувствовалось, Проскурин с ней не расстается и часто, видимо, смотрит нужную страницу, потому что она сама собой оказалась перед моими глазами, как только я раскрыл книгу.

— Там очерчено красным,— сказал Проскурин.

Я прочитал вслух:

— «Комбайн остановился, он подбежал к рукаву, из которого в подставленный мешок сыпалось толстой струей зерно, и, сунув пригоршни под золотую струю, зачерпнул ими зерно. Несколько секунд он смотрел на него, приподняв пригоршни к лицу, согнув пыльную тугую шею. Потом, показывая зерно окружающим, сказал хрипло и задыхаясь: «Настоящее. Дьяволы! А?»»

— Замечательная книга,— прервал меня Проскурин.— Побольше бы таких для нашей молодежи. Технику любить надо и жалеть тоже.

Он не кривил душой. Мне и самому не раз приходилось замечать, как ласков и как осторожен Проскурин с машиной. Вокруг обойдет и тыльной стороной ладони, как врач, ощупывает. Слышал я, как однажды наставлял он Александра Лунева, тогда еще молодого механизатора. «Приходилось ли тебе замечать, как иная лошадь на бегу всхрапчиво дышит? — спрашивал его. И, поняв, что в лошадях Лунев осведомлен меньше, чем в комбайнах, все же продолжал: — Значит, не от добра это. Лошадь тоже в жизнь по приступочкам входит: потихоньку да полегоньку, пока сил да умения наберет. А если смолоду бездушный хозяин ее не пожалел, силенки надорвал, перегрузил, стало быть, вот она всю жизнь и всхрапывает. Тяжко ей. Так вот и комбайн. Он тоже ко всякой грубости чувствительный. У него своя молодость есть. Не прозевай ее. На дроссель-то поменьше надейся. Мозгой шевели. Гайку, болтик проследи, все ли пригнано. Смазочку, водичку, не забывай. Техуходы машине чтобы вовремя производились. Тогда и ей вольготно, и о тебе слово доброе по миру пойдет...»

Мы заворачиваем круто вправо и едем к Каратумарской плотине. Таких плотин на былой целине появилось множество. Они питают заливные луга влагой, являются свое-

образными оазисами в безводных ранее просторах. Талые и дождевые воды ежегодно наполняют их, раздвигают границы лиманного орошения. В водоемах разводят карасей и карпов, а в иных ряпушку — рыбку маленькую, но поистине золотую: хоть на жарево ее бери, хоть на уху. За стол сядешь — за уши не оттащишь.

Карпы отличаются здесь своей крупнотой — круглые и грузные, как гири. А карасей!.. В каждом пруду их битком набито. И белые, и желтые, и розоватые. Переселением их на дальние пруды — так утверждают местные ихтиологи — занимаются дикие утки, занося в воду янтарные икринки.

Еще издали видим, как работает на плотине бульдозер. Впереди лопаты темные комья земли вырастают в бугор, и он движется, шевелясь, будто живой.

— Это Звягинцев тут,— говорит Проскурин.— Другой бы — в холодок от такой жары, а он работает. Заедем, дело есть к нему.

Звягинцева Анатолия Петровича, ныне Героя Социалистического Труда, коммуниста, знаю давно. Помню начало лета пятьдесят восьмого года. Работал я тогда директором Армавирской восьмилетней школы. Жизнь в то время принято было считать с достатком. И вот, когда люди узнали о намерении партии преобразовать целину, расширить хлебные посевы, некоторые поначалу удивились: а зачем? Живем ведь, как говорится, слава богу. Когда же поняли всю грандиозность планов, начали поговаривать, что и верно пропадает много богатства,

что неоглядные степные земли могут больше дать стране хлеба и других продуктов. Но все же не все могли представить тогда истинную картину предстоящих перемен, свидетелями которых всем нам предстояло быть в скором будущем. Мне посчастливилось ощутить в некотором роде и личную причастность к большому делу, потому что работал на целине в первые годы ее освоения.

В памятный для меня июньский день пятьдесят восьмого года пришел я в совхозную контору по приглашению директора. Небольшая комната была заполнена молодыми парнями, девушками. За столом, не в центре, а сбоку (такова была его привычка), сидел на табурете Виктор Авдеевич Спиридонов, директор совхоза. Облюбовав в собеседники молодого парня, без особых назиданий и нажимов он спокойно, но так, что в комнате было слышно, разговаривал с ним. Парнем этим был ныне довольно известный в целинной округе бригадир Петр Иванович Быков, коммунист, кавалер ордена Ленина, добрые дела которого служат примером для молодежи. Но о Быкове рассказ еще впереди.

Разговор, как я понял, шел о распашке новых земель в урочище Сантас, недалеко от Тенгиза. Наступление на Притенгизские степи составляло тогда главную задачу. Предполагалось распахать две тысячи гектаров до наступления холодов.

— Вот какое перед нами нелегкое дело партия и народ ставят,— заострял директор внимание настороженных хлопцев и осматривал их лица: прониклись ли?

Увидев меня, директор вскинул крупную, тронутую у висков сединой голову, хотел было пригласить меня сесть, но, увидев, что некуда, попросил одного из парней уступить мне место.

— Вот,— сказал он, приятно улыбаясь,— обзавожусь богатырской ратью. И твое тут дело не постороннее.

Передо мной ставилась задача поселить прибывших молодых механизаторов в школе, пока отстраивается общежитие.

— Хлебушек, наверное, растить умеете?— обратился директор к молодым парням, сидевшим у противоположной стены.

— Самостоятельно не приходилось,— ответил кто-то из них.— Здесь вот и попробуем.

Директор усмехнулся:

— Хлеб — понятие высокое. Нужно большую силу воли иметь, чтобы работать один на один с землей, не дрогнуть в этом поединке.— И, помолчав, добавил: — Не поле кормит, а любовно обработанная нива. Не зря говаривали в старину: полюби Андревну (соху) — будешь с хлебом.

Не знаю, как другие молодые механизаторы восприняли эти слова директора, но один из них, Анатолий Петрович Звягинцев, запомнил их на всю жизнь.

— Всякий раз,— признался он мне однажды,— как только вспоминаю ту первую встречу, так и всплывают в памяти слова Виктора Авдеевича: хлеб — понятие высокое...

Чтобы поподробнее рассказать о Викторе Авдеевиче Спиридонове, придется окунуться в целинное прошлое.

II

Сердце коммуниста

В первый год освоения целины, в марте 1954 года, на берегу Егиндыкуля, где раскинулась теперь центральная усадьба Армавирского совхоза, находилась землянка и один приземистый, будто вросший в дерн, скотный сарай. Землянку целинники называли «Ташкентом», потому что отогревались в ней после рейсов за грузами на станцию Джалтырь, расположенную за полтораста километров. Скотный сарай служил материальным складом, где хранились и откуда выдавались фуфайки, ватные брюки, валенки, сапоги и шапки-ушанки. Вокруг никакого жилья и в помине не было. Степь казалась безбрежным океаном.

На одной усадьбе строилось сразу два совхоза: имени Калинина и «Армавирский». Их разделяла широкая улица по названию Степная. С тех пор и до настоящих дней хлеборобы обоих совхозов соревнуются между собой, хотя калининцы и переселились на новую усадьбу.

Виктор Авдеевич Спиридонов, как и многие в то время, будучи старым коммунистом, стал посланцем партии по организации нового совхоза на целине. До этого работал директором Каменской МТС в Горьковской области. В злой, метельный март 1954 года он впервые оказался с глазу на глаз с неприветливой, заснеженной степью, которую пред-

стояло обуздать, заставить родить хлеб для людей. В хозяйстве нового директора поначалу не было ни той землянки, ни скотного двора — они принадлежали дальнему колхозу,— был лишь колышек с названием будущего совхоза.

Но Спиридонова это не смутило. Видно, верил в свою силу. Ею оказались любовь к людям, непреклонная решимость выполнить партийное поручение во что бы то ни стало. Доброе сердце его оставалось открытым для каждого, кто стыдился молиться бесу и корысти. В этих людях была его опора; они любили его, верили ему и никогда не раскаивались в том.

Виктор Авдеевич не имел ни начальственной осанки, ни ораторского дара. Носил кирзовые сапоги, не первого срока синие диагоналевые галифе и рабочую, цвета хаки, телогрейку. Он больше походил на хозяйственного дотошного мужика. Но за ним шли. К нему съезжались со всех концов страны.

Некоторые толковали о нем как о счастливчике, случайном удачнике. Да, он был счастлив от сознания личной полезности. Да, он был удачлив, но удачи не застилали ему горизонт, за которым постоянно виделись ему новые задачи, новые заботы. Его никогда не смущала и не настораживала простота рабочих в обращении с ним. Уважали и шли за ним люди, зная его деловые качества, справедливость.

И еще заключалась в нем особая сила в подходе к людям. Случалось, что какими-то окольными путями шипучей змеюкой запол-

зет в человеческую душу случайная обида, и закипит он норовом да неодолимым желанием показать себя, постоять за себя. А то вдруг изольет он эту горечь да обиду не совсем складным заявлением: «Прошу уволить...» Тогда по вечеру возьмет Виктор Авдеевич бутылку лимонада — крепких напитков ему больное сердце употреблять не дозволяло — и пойдет домой к челобитчику. «Здравствуйте!» — скажет. «Здравствуйте! Проходите, желанным гостем, дескать, будете».— «Что ж, можно и пройти». Пройдет Виктор Авдеевич. И сядет. А разговор-то не ладится. Вот тогда и достанет директор свою бутылочку лимонада, а хозяин искренне улыбается: что, мол, за напиток такой для мужика? Скажет жене, чтобы налила ему чарку настоящего. Когда подгорячит себя, станет на душе попросторней, выговорится тогда начистоту, а под конец вдруг со всей откровенностью скажет гостю:

— Ну и хитер же ты, должно быть, Виктор Авдеевич.

Помолчит директор, стакан пустой на столе подвигает-покрутит и, как обычно, без нажима, спокойно ответит:

— Нет. Не хитер я, Иваныч. Просто я с тобой, как с добрым товарищем. Да, пожалуй, и со всеми такой.

Скажет так Виктор Авдеевич и станет прощаться. Сначала с хозяйкой, потом с Иванычем. А будут под рукой дети, и с ними за руку попрощается.

— Дело-то наше земельное,— скажет,— зори больно ранние, а работы — непочатый

край.— И, поблагодарив за гостеприимство, шагнет за порог.

Наутро Иваныч смущенно придет за своим заявлением. «Извини, Виктор Авдеич, погорячился...»

Жил совхоз «Армавирский» в те дни горячими делами и заботами. Вся эта куча больших неотложных дел, казавшаяся поутру неодолимой, как древний степной курган, уменьшалась к вечеру не более как на одну треть, но в душах неутомимых тружеников рождалось радостное облегчение: все же поддается дело!

В эти до предела напряженные дни Виктор Авдеевич был особо энергичен и неутомим. Удивительным казалось его умение быть всегда там, где его присутствие необходимо. Вот назрело сложное дело, решение бы тут компетентное принять, оплошности не допустить, а распорядиться — смелого человека не найдешь. Приостановится дело, а время утекает. А тот, кому распорядиться бы за директора следовало, делает вид, что недосуг ему, да и не его это, мол, забота. Тут как раз и появится Виктор Авдеевич. Сходу встрянет, будто обдумал все еще загодя.

Вот в заснеженных просторах, урча и сердито постреливая, появился санный тракторный обоз. На платформах возвышались тюки, ящики, бревна, пиломатериалы, бочки и продовольственная снедь. Уже на подходе к поселку скатывалась с ведущей машины суетливая фигурка и, пропустив часть поезда,

устремлялась в сторону дороги, путаясь в снежной целине. Караван послушных машин, накрывая человеческий след, проминал новую дорогу к тому месту, где надлежало стоять складу, где определено было место сборному щитовому домику, где полагалось вырасти складу горючего и смазочного материала.

— Бочком, бочком, малость выравнивай, Павлуша!

Надрывный голос еле слышался в реве машин. Наддав правой гусеницей, Павлуша ставил трактор, как указывал директор.

В эти минуты Спиридонов казался сгустком энергии. Меткий глаз видел все, что делалось вокруг. Он подавал сигнал на «стоп» одному трактористу и, открыв движение второму, бежал к третьему, семафоря, чтобы не форсировал ход.

Окружив ценную поклажу, люди с нетерпением ждали команды на разгрузку.

— С Наумцом бы согласовать,— советует высокий худощавый парень.— Прошлый раз вот так доски соштабелевали, а ему не понравилось.

— Можно,— соглашается директор.— Ребята, кто видел Наумца?

— Наумца, Наумца — всем по рюмочке винца,— сострил кто-то.

Наумец был прорабом совхоза. Работы на его долю приходилось немало. Земля требовала машин, машины — людей, а люди нуждались в благоустройстве, в жилье. Ну а за строительство отвечал прораб. И потому считал он себя человеком значительным, влиятельным, не догадываясь, быть может, что

слыл среди рабочих совхоза как пройдоха. От этого мнения не спасали его ни внушительная солидность, ни высокомерие и строгость в обращении с подчиненными. Таков он был перед рабочими. Зато уж перед начальством достигал таких артистических высот перевоплощения, что люди, хорошо знавшие его, диву давались.

В это время рабочие увидели Наумца. Он уже сам поспешал к трактору.

— Товарищ Наумец! Если щиты-то здесь скантуем, промашки не будет? — спросил тот же высокий худощавый парень.

Но Наумцу было не до этого. Доброй весточкой хотелось ему директора поскорее обрадовать.

— С благополучным возвращением вас, Виктор Авдеевич,— подходя к директору, говорил Наумец и, угодливо склоняя голову набок, протягивал руку.— А мы тут за эти дни подарочек для вас приготовили...

Голова прораба все больше клонилась на сторону, а лицо было полно покорности и настороженности.

— Что ты имеешь в виду? — смахивая тыльной стороной ладони мусор с галифе, не отвечая на улыбку прораба, спросил Виктор Авдеевич.

— Особнячок-то ваш отделочкой закончили, теплецо по комнатам в пределах жилой кондиции.

— Вот и хорошо,— просто сказал директор.— Сейчас пойдем посмотрим.

— Довольны останетесь, Виктор Авдеевич.— Слово даю, сработано на совесть.

Отдав последние распоряжения по разгрузке, Спиридонов размашисто зашагал в поселок, а немного сбоку, приноравливаясь к его шагу, старался не отстать прораб.

— Вот и хорошо,— обычной своей похвалой отозвался Виктор Авдеевич, любуясь прилежно отделанными под колер стенами, старательно покрашенным полом.— За такое жилье любой только спасибо скажет.

В комнате было тепло, а смолистый сиккативный запашок наполнял ее приятным ароматом новоселья.

Виктор Авдеевич повернул во вторую комнату, и за проемом предстала ему такая картина: на полу, на широком, не совсем чистом расстиле, похрапывали разомлевшие от тепла с руками вразмет ребятишки. У их изголовья сидела, протянув на полу ноги, жена шофера Лазарева — Феофановна. Увидев директора, она прижала к груди порванную детскую рубашонку, которую чинила, продолжая сидеть.

— Для топки печей приставил, Виктор Авдеевич. Временно,— стоя за спиной директора, пояснил прораб.

Феофановна, поняв, видимо, что минуты ее блаженства сочтены, встала, собрав свое пошивочное хозяйство. Видно было, что уходить ей из этого дома ой как не хочется: на улице начинался буран, а тут так уютно и так сладко смотреть на обогретых теплом детей.

— Почему же временно? — спокойно заговорил директор.— Пусть здесь Лазаревы и живут. Смотри, как детишки устроились.

Кому же и жить в таком доме, как не им? — И, повернувшись, зашагал к выходу.

И пошло, покатилось по совхозу известие. «Прорабу-то нашему, слышали, Виктор Авдеевич мат поставил!..»

А прораб всем твердит про директора: «Он только с виду такой непритязательный. Ему двухквартирную пятистенку подавай. Ну ж и каприза!..»

С двухквартирной пятистенкой получился еще больший конфуз. Все так же убежденный в умении угодить «прихотливому» директору, вдохновленный прораб вводил Спиридонова в разделанные под лак растрафареченные хоромы и, пересекая порожки и проемы, услужливо намечал назначение комнат. Были тут и прихожая, и столовая, и кабинет, и запасные спальные комнаты для приезжих гостей, площади для наследников.

Но, послушно следуя за прорабом по комнатам, Виктор Авдеевич был далек в эти минуты от соблазнительных проектов прораба. Он в первую очередь заботился не о себе, а о других. И время доказало это: из землянки Спиридонов переселился в дом в числе последних жителей совхоза.

— Вот и хорошо,— сказал он, легонько хлопнув прораба по плечу.— Какое ты великое дело сделал. Ведь этого же на целых четыре семьи хватит. Поселим сюда специалистов и бригадиров с семьями. А я пока обойдусь. Дети-то у меня, считай, взрослые.

При этих словах прораб решил, что имеет дело с каким-то ненормальным человеком. «Или у него умственный перекос в голове,—

жаловался на людях прораб,— или пыль в глаза пускает, постоянно обряжаясь в патриота целины». И, решив, что с «безнадежным» директором работать нет никакого смысла, недельки через полторы после сдачи пятистенки подал заявление с просьбой отпустить его за пределы совхоза.

— Ладно,— изменив своему «вот и хорошо», сказал Виктор Авдеевич.— Теперь берись за школу, и пока не поставишь ее, разговора об уходе не будет. Да, пожалуйста, сделай школу так, как последний коттедж строил. А тогда валяй на все четыре стороны. Я не задержу.

Вот такая служебная чересполосица пролегла между двумя призванными к общему делу людьми. Время образовало ее, время и распахало. А совхоз все расширялся. Вчерашние, нелегко добытые приобретения вселяли веру в неистощимую силу человека, и вполне достижимыми казались новые задачи. Уже более сорока тысяч гектаров пахоты распластались в просторах Притенгизья.

В горячие дни уборки золотым хлебным потоком оборачивалась теперь бывшая целинная степь. Да, это была уже не та давняя седая степь с неизменным чебрецом и ковылями. Она лежала теперь покоренная у ног земледельцев, радовала душу.

— Сорок тысяч пашни в одном хозяйстве! Целое государство,— горделиво говорил Виктор Авдеевич.

Неугомонным стрепетом носился он по полям и животноводческим точкам. Порой на попутных машинах, на тракторах, частенько

отдавая свой «газик» другим, ибо понимал: не в одних его деловых разъездах состояла многоликая совхозная жизнь. И тяжелая роженица, и окончивший короткую побывку солдат, и школьный полномочный ходатай, и уходившая на пенсию старушка, и пожилой лектор, и многие-многие другие с благодарностью залезали в этот видавший виды директорский «газик».

Однако по вызову в район считал неприличным ездить на попутных. Такая деловая поездка вселяла в него особое чувство ответственности, служебного такта. В такие дни он был особенно тщательно выбрит, одет во все лучшее, праздничное. В конторе подмечали:

— Какой вы сегодня огурчик, Виктор Авдеевич!

— Должен же я, как положено директору, ездить! — отвечал он с напускной важностью.

Сегодня он снова сидел в своем «газике», устремив вперед задумчивый взгляд. Навстречу, вытягиваясь в бесконечные холсты, с обеих сторон бежали хлебные массивы. Стояли те дни, когда пшеница, утратив бирюзовый цвет, еще не обрела золотого, хотя колос начинал тяжелеть.

— Завернем к Троценко,— посмотрев на часы, сказал Виктор Авдеевич шоферу Лямину и обернулся ко мне:— Посмотрим, как там его, бедолагу, градом зацепило.

В этот год пшеница «саратовская-29» только входила в силу. О ней много говорили,

ею старались обзавестись, на нее возлагались большие надежды. Троценко выбрал для этого сорта место поближе к Тенгизу, рассчитывая на влажное дыхание степного моря. Но случился необычайной силы град, и длинный многозернистый колос, успевший уже огрузнеть, печально лежал на земле.

Виктор Авдеевич остановил машину, вышел на поле и, склонившись, как врач над больным, стал перебирать колосья. Потом разогнулся и, отряхнув ладони, озабоченный, полез в машину.

— Вот ведь какая неудача!— сокрушался директор.

Подъезжая к бригадному стану, он почти на ходу выпрыгнул из машины и размашисто зашагал навстречу бригадиру.

— Ну, как твои дела, Володя?

— Плохие дела,— хорошо понимая директора, отвечал Троценко.— Заезжали тут ко мне, приказали косить, пока стебель не засоломился.

— Были они и у меня... Ты вот что, пшеничку-то не трогай. Отойдет она, чует мое сердце, отойдет. Стебелек-то не надломился. Он воспрянет, вот увидишь, еще как поднимется.

— Вот и я так думаю, Виктор Авдеевич. Ведь рука не поднимается. Сами же говорите: хлеб — понятие высокое. А тут долдонят: коси без промедления, на корм скоту пойдет.

— Ни за что! — горячо отозвался Спиридонов.— Скот мы еще на голодном пайке никогда не держали. За скот мы перед всеми

в ответе. А саратовку под нож безо времени пустим — проиграем. Хлебороб на свой труд плевать не любит, его хлопоты не днями, а годами выверяются.

Отойдя от машины в сторону, задумался, видно, еще и еще раз взвешивал свое решение. Наконец повернулся ко мне и как окончательно решенное сказал неожиданно резко и коротко:

— Нет, нет! Отдавать скоту такое добро мы не будем. Грешное это дело.

Тут и созрело, видно, у него твердое решение искать поддержки. Вся практика его жизни была основана на том незыблемом убеждении, что добрая мысль обладает свойством обязательно прорастать, выбрасывая стебель и листья, как прорастает по весне всякое живое, спрятанное в землю заботливой рукой рачительного хозяина. Подумав, на кого бы опереться, он пришел к выводу:

«Чего мудрить-то одному, с самим собой?.. Переваривать!.. Мучиться!.. А вот посоветуюсь-ка с райкомом... По полочкам разложу... Все открыто ведь, без тумана».

Попристальнее всмотревшись в настил поверженного поля, он зашел шагов на пятьдесят в глубь нивы, стал выдирать из земли, уже без разбора, стебли пшеницы. И так все шел, убирая в левую руку эту дорогую ему новоселицу здешних полей. Выйдя из посевов, он поспешил к машине.

— Давай-ка, Володя,— сказал шоферу,— да поухватистей, чтобы в райком поспеть.

— Это верно, что вся жизнь — борьба,— заговорил он снова, когда машина набрала

скорость.— Звучит-то как просто, а как точно!

Говорил директор, как мне показалось, больше самому себе, не желая докучать разговорами, а возможно, вся ситуация еще не совсем им была осмыслена и хотелось во всем разобраться прежде всего самому. Наконец он повернулся ко мне и негромко спросил:

— Улавливаешь о чем? Ведь самое дрянное дело, когда на восемьдесят процентов уверен в правоте, а доказать не можешь. Даже если бы на девяносто. Вот если бы на сто! А если бы на сто, тогда и доказывать-то не надо: оппонент твой и сам видит, что дважды два — четыре. Ты думал когда-нибудь об этом?

Он достал носовой платок, обвязал им по стеблям свой снопик пшеницы, воткнул его за скобу-держалку и продолжал:

— Вот говорят: вся жизнь — борьба. Этого не оспоришь. Но ведь борьба-то бывает разная и на разных уровнях. Спорят сударушки у колодца. У них конфликт. Этому конфликту можно не посочувствовать, но его можно понять. И не только понять, но и оправдать. Перед нами — конфликтная ситуация на определенном, на равном уровне...— Он повернул голову к шоферу:— Ты бы стеклышко немного приоткрыл, душновато все же.— И опять мне:— От ангины оберегает,— и пуговку на вороте застегнул.— Так вот, говоря прямо, зачем мне нужна эта «саратовская-29»? Я ведь ее всю не поем. А может, тут есть своя корысть, может, все же личный

интерес? Да, безусловно, личный интерес. Но это тот личный интерес, который я называю интересом высшего уровня. В подобных делах, слов нет, нельзя терять голову. Но безответственный консерватизм мне всегда кажется пострашнее благородного риска. Ведь дело идет о государственных, народных интересах. На чем базируется приказ Сокурова косить пшеницу в стадии молочной спелости?

Спиридонов смотрел на меня выжидающе. Возможно, решил, что я должен пролить свет на этот важный для него вопрос, а может, и сам не готов был на него ответить. Немного помолчав, он вдруг прямо, без колебания сказал:

— На трусости.

Виктор Авдеевич еще некоторое время молча смотрел мне в лицо, а потом достал тот пшеничный снопик, положил его на спинку сиденья, веером развернул стебельки.

— Посмотри, ни один не сломан. Значит, питание идет, она еще встанет.

Признаюсь, меня не так трогала эта «саратовская-29», как поражала убежденность Спиридонова в том, что пшеница не погибла. Слушая его, подумалось: стоит только не косить ее теперь на корм скоту, и урожай зерна обеспечен.

— Тут главное,— опять заговорил Спиридонов,— с себя ответственность снять. Заскирдуй завтра всю пшеницу в солому — Сокуров не пожалеет. Хозяйского интереса нет. Ведь градобой не коснулся его квартиры, не отразился на его домашнем меню. Ты понял меня?

Он помолчал, попросил Володю еще пошире приоткрыть ветровое окно, воткнул снопик на свое место.

— Теперь, надеюсь, ты понял насчет моих уровней. Значит, у одного идея, у другого просто цель. Точнее сказать, мелкая, корыстная цель, сугубо личного плана. Вот об этом я и хочу поговорить в райкоме.

В приемной первого секретаря секретарша сказала:

— Кимаша Сыздыковича нет, но скоро должен быть.

Спиридонов всю дорогу подготавливал себя мысленно к разговору именно с первым секретарем райкома партии Сыздыковым и сейчас, услышав, что его нет, подумал: где тонко, там и рвется. А не поговорить ли еще раз с начальником райсельхозуправления Сокуровым, тем более что последний разговор у них был, как считал Спиридонов, разгоряченным, но соответствовал важности обсуждаемого дела. Попросив секретаршу в случае приезда Сыздыкова позвонить в кабинет начальника райсельхозуправления, решил пойти туда сам с надеждой склонить Сокурова к тому, чтобы не косить пострадавшую от града пшеницу.

Спиридонов застал его за чтением бумаг. Сокуров сделал вид, что не узнал вошедшего, и продолжал бегать глазами по листку. Это насторожило директора, доброго разговора не будет. Но он не огорчился. Откровенно говоря, Виктор Авдеевич и не рассчитывал на добрый прием, потому что отношения его с Сокуровым не сложились как-то сразу.

Приехав на целину, Спиридонов взял за правило решать важные хозяйственные вопросы, опираясь на поддержку тех, кто стоял выше его по положению. Он хорошо понимал, что только при таком деловом содружестве могут претворяться в жизнь намеченные планы. Он также понимал, что дело, за которое он взялся, не является чем-то личным для него или другого руководителя, а потому считал: делать надо общее заодно, рука об руку. Отношения, сложившиеся между Спиридоновым, районным и областным руководством, вполне устраивали обе стороны.

Только с Сокуровым отношения не ладились, и Спиридонов знал тому причину. Знал и не мог ничего изменить. Вся беда состояла в том, что это были совершенно разные люди с точки зрения понимания своего служебного долга, всей сути той работы, которую призваны выполнять.

Спиридонов всегда оставался прост, корректен, тактичен. Никогда не опускался до подобострастия и назойливой учтивости перед начальством. Но и с подчиненными не допускал панибратства. Он не считался с мерой личных затрат и личного участия. Любую задачу он старался представлять себе во всем ее объеме — от мелочей до главных составных частей. И, понимая, от какой инстанции что зависит, шел туда и, подробно изложив суть дела, убеждал, просил, а нередко и требовал.

Сокуров был человеком иного склада. Считал, что какое-либо дело должно интересовать его, волновать только в том случае,

если он за него лично отвечает. Однажды, поняв это, Виктор Авдеевич старался без особой нужды не докучать Сокурову, а тот воспринял это как вызов, нежелание считаться с начальством. С того времени всеми своими поступками, всем тоном служебного отношения Сокуров старался подчеркнуть, что для него не существует в районе такого опытного и преданного своему делу директора совхоза, каким был Виктор Авдеевич Спиридонов.

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Спиридонов,— наконец оторвавшись от бумаг и укладывая их ровной стопкой на столе, ответил на приветствие Сокуров.

И послышались в том «здрасте», «здрасте» совсем другое, неприветливое и даже снисходительное. Вот, мол, над какими важными бумагами приходится голову ломать, а тут с пустяками, да уж не в первый раз лезут.

Отодвинув деловые бумаги, Сокуров вытряхнул сигарету из лежащей на столе пачки и, заправив в янтарный мундштук, полез в карман за спичками.

— Прошу,— указал он на стул, стоящий сбоку.

В этом «прошу», как и в «здрасте», слышалась покровительственная снисходительность, уверенность в своем превосходстве. Дескать, в своем кабинете, что захочу, то и сделаю. Однако притаивалась и еле уловимая настороженность перед этим худощавым, с добрым открытым взглядом, настырным директором.

Распалив сигарету, Сокуров стал тщательно удалять с настольного стекла крошки табака и пепла, давая понять этим, что не столь уж важных сообщений ожидает от директора.

В тот же миг на его стол лег снопик «саратовской-29».

— Если не ошибаюсь,— с плохо сдержанной нервозностью и с неприязнью отодвигая от себя стебли, заговорил Сокуров,— считаете разговор неоконченным? А я, товарищ Спиридонов, другого мнения.— И спрятав короткие руки в карманы брюк, вызывающе посмотрел директору в глаза.— Я полагал, вы ко мне со сведениями или за советом,— продолжал Сокуров.— Впрочем, как всегда, пустая надежда. Советчиков у вас и без меня хоть отбавляй, а ко мне — только с вымогательством, со штурмом.

Не скрывая раздражения и теряя начальственную важность, он не то чтобы вышел из-за стола, а как-то почти выпрыгнул из полукресла и, смахивая пшеничную осточку с пиджака, направился по ковровой дорожке к двери.

— Да, да, со штурмами ко мне, товарищ Спиридонов,— сказал он, повернувшись к двери.— А я штурмов не люблю. И штурмовщины не люблю. Я люблю работать четко и гладко. Безалаберной самодеятельности никогда не одобрял и не одобряю.

Виктор Авдеевич счел, что сидеть ему в таком положении не совсем прилично. Он встал со стула, ничуть не оробевший от разноса, но почувствовал, что не надо было при-

ходить сюда, переждал бы в приемной секретаря. Здесь его принимали даже не как просителя, а точно нашкодившего мальчишку. Но, как всегда, подавив обиду, ведь не ради личных почестей пришел, заговорил спокойно, не теряя самообладания.

— Товарищ Сокуров, в этом сложном деле для нас судьи нет. Спросить бы у аллаха, да ведь и его нет. А мундирам нашим пшеница козырять не приучена. Ее призвание — расти и людей кормить.— Он взял со стола снопик пшеницы, протянул Сокурову.— Вот она, кормилица, полеглая, но не убитая. Грешно ее под ноги скоту бросать...

Сокуров даже не взглянул. Было совершенно ясно, что косить полегшую пшеницу немедленно для него являлось делом окончательно решенным. Доводы в пользу иного варианта он и слушать не хотел.

— Фанатизм какой-то! Ни логики, ни здравого смысла,— запальчиво рассуждал он, разводя руками, снова уже сидя в своем полукресле.— Ведь побило же градом, поколотило... Один выход: скотине на корм. Вам же, товарищ Спиридонов, говорят: немедленно скосить, организовать зеленый конвейер. И ваши бычки начнут прибавлять в весе не по дням, а по часам. Ну что вы на меня так смотрите?

Хотя Спиридонов внезапно почувствовал себя уставшим, все же посчитал нелишним продолжить разговор.

— Говорить о зеленом конвейере в данном случае — значит проявлять самую элементарную безответственность. Зеленым кор-

мом эта пшеница будет совсем недолго, затем превратится в солому. О какой зеленой подкормке молодняка может идти речь? А у нас на эту пшеницу свои расчеты — твердые и довольно обоснованные. Мы уже в счет будущего урожая начали строить больницу. Мы видим эту пшеницу созревшей, проданной государству...

— Мы, мы, мы! Что вы все мыкаете, товарищ Спиридонов?! — снова взвинтился Сокуров, застучав ребром ладони по столу.— Как будто в районе нет над вами никакой власти... И потом, с каких это пор, понимаете ли, вы получили право на оценку работы райсельхозуправления? Кто давал такое право?.. В общем, ходить, утрясать считаю бесполезным делом.

«Ну, брат, ты широко шагаешь, штаны порвешь»,— подумал Спиридонов, глядя в окно.

Раздался телефонный звонок.

— Сокуров... Слушаю. Вместе?

Он бросил быстрый взгляд на директора и нехотя процедил:

— Да, утрясаем, Кимаш Сыздыкович, эти градобойные гектары. Хорошо. Сейчас.

Положив трубку, Сокуров обратился к Спиридонову:

— Идите. Сыздыков вас приглашает.

— Так он же, как мне показалось, нас вместе...

— Идите, идите...

— А-а, притенгизский пахарь! — добродушно встретил Спиридонова секретарь райкома Сыздыков. Добрая улыбка играла на

его смуглом лице.— По какому поводу? — спросил он, здороваясь с директором, и, взяв из его рук снопик пшеницы, стал нюхать.

— И дым отечества нам сладок и приятен,— процитировал секретарь, приглашая гостя сесть.

— Кому приятен, а кому, может быть, и не очень.

— Что так?

— С какого поля эта пшеничка, как вы полагаете?

Сыздыков хитровато прищурил карий глаз, усмотрев подвох в прямолинейном вопросе директора.

— Ну, это для КВН, Виктор Авдеевич. Разве ответишь? Понимаю так, что вы неспроста здесь с таким букетом.

— В нем-то и суть,— ответил Спиридонов.— Те семьсот гектаров притенгизских помните, что градом пришибло? Вот о них сейчас и пекусь, по начальству разъезжаю. Для иного проще скосить такое добро на корм скоту, лишь бы снять с себя ответственность, а там хоть волк траву ешь...

Вошел Сокуров. Не умеряя шага, будто предстояло ему шагать да шагать, он устремился к секретарю и, сделав вид, что не замечает Спиридонова, заговорил на ходу:

— Решаем, решаем... Точки ставим, а получается демагогия, трата времени.

Он взял пучок пшеницы со стола и, нещадно теребя стебли, стал доказывать:

— Вот она, называется урожайная, а росту в ней — кот наплакал. Непонятна роль некоторых ходатаев и просителей.

Сокуров небрежно бросил пшеницу снова на стол и уселся в боковое кресло.

— Нет, не кот наплакал,— сказал секретарь.— Вчера сам на полях был и, признаться, такой не встречал. Это вы предубеждены, товарищ Сокуров, позвольте вам заметить. Попрошу высказаться яснее.

— Куда ж яснее? Ведь этот зеленый корм мы уже на мясо пересчитали. Сами вот прикиньте: зеленый конвейер...

— Позвольте,— перебил его секретарь,— вы не с того конца арифметику ведете. Пшеницу ведь не для корма сеем. Для скота у нас пока и трав хватает. Лето же!..

Сокуров соскочил с кресла, прошелся по кабинету.

— Так не поднимется же эта пшеница после такого сумасшедшего града! — затряс он руками.— У меня тоже глаза не на затылке, не в моих правилах в поддавки играть.

— Успокойтесь, товарищ Сокуров. Кстати, у нас тут не шахматный турнир,— заметил секретарь, постукивая карандашом по столу.

— Виктор Авдеевич, что вы скажете,— обратился он к Спиридонову.

— Кимаш Сыздыкович, дело ясное, как сама правда. Пшеница здорова, через полторы-две недели будет стоять вполне налитой и пригодной для уборки.

— Но позвольте,— не утерпел Сокуров.— Выходит, что мы бьем по собственным решениям?

— Помилуйте, кто такие решения принимал? — спросил секретарь.

— Ну, извините, Кимаш Сыздыкович, если вы комиссию не считаете достаточно авторитетной, тогда, простите, я не знаю...

— Да признаю комиссии, признаю,— улыбнулся секретарь.— Ведь все авторитетное — живое, а все живое — не свободно от ошибок. О чем тут разговор? Со своей же стороны считаю, коль товарищ Спиридонов в этом деле упорствует — значит, есть резон. Виктор Авдеевич нас еще не подводил. Совхоз у них ежегодно с прибылью. Мы знаем Спиридонова и должны ему верить.

— Значит, Спиридонову верить, а Сокурову нет?

— В вашем вопросе нет логики,— уже строже продолжал секретарь.— Вы оба не гарантированы от ошибки, но у товарища Спиридонова выше цель: он борется за умножение хлеба — главного богатства страны. Вы предлагаете нечто противоположное. А ошибка Спиридонова в данном случае будет извинительнее, поэтому прошу не мешать Виктору Авдеевичу. Вопрос, полагаю, решен...

Отстоял-таки Спиридонов новоселицу Притенгизских степей — твердую пшеницу «саратовская-29». Когда пошел колосок к выпрямлению, с облегчением вздохнул директор и все чаще стал навещать градобойное поле. Оно оживало, щетинилось безусыми колосьями, которые уже начинали наливаться. К исходу июля — началу августа заколыхалось поле грузными волнами и лишь кое-где

проглядывались на нем крученые прилеглые стебли с крупными шероховатыми колосками.

...С радостным докладом покатил Спиридонов в райсельхозуправление. Но порадовать того, кого хотел, ему не удалось, потому что в тот самый день Сокурова освободили от занимаемой должности за слабое руководство, а новый начальник еще не приступил к работе. Так и остался за этим делом в душе какой-то несрытый бугорок.

Сыздыков радовался известию искренне. Он и сам не один раз бывал на том пшеничном поле, болел за него всем сердцем. Дружелюбно похлопав Спиридонова по плечу, он ласково проговорил:

— Заходи-ка вечерком на чай, добрый ты наш притенгизский пахарь...

А через полтора десятка дней, как бы спеша отплатить за доброту людскую, отвалила «саратовская-29» по сто пудов с гектара золотого зерна.

Умер Виктор Авдеевич Спиридонов в конце весны 1961 года, когда в пашню было брошено последнее семенное зерно. Приехав из степи, где заканчивали посевную, он вышел из машины и, увидев совхозного врача Зиганшина, приложил ладонь к левой стороне груди и негромко сказал:

— Нил Константинович, что-то сегодня тут у меня разыгралось.

Увидев побледневшее лицо директора, Зиганшин пригласил его в больницу. Но только успел перешагнуть порог лечебницы Спиридонов, как рухнул вдруг на пол. Замерли по-

следние шаги этого внешне ничем не приметного человека, с живым умом, широким, честным сердцем коммуниста.

И если ты, читатель, волей обстоятельств окажешься в селе Спиридоновке (так теперь называется центральная усадьба совхоза «Армавирский»), вспомни добрым словом основателя этого села и совхоза Виктора Авдеевича Спиридонова.

III Пшеничное море

Долочек, по которому мы ехали сейчас к Звягинцеву, изобиловал потными местами. Видимо, поблизости где-то задремал в густой растительности родник. Ближе к плотине долочек обильно оброс дикой рожью, болотным пыреем, заячьим клевером. Запруженные воды просачиваются здесь через тело плотины и вдоволь питают живительной влагой высокие травы. Близость большой воды придает всей местности умбристый цвет, воздух влажен, плотен.

Плотина выросла на Каратумаре еще при Викторе Авдеевиче Спиридонове, по его настоятельному совету.

Некогда директор говорил, что всякое большое хозяйство, в том числе и зерновое, трудно представить без развитого животноводства, а для этого нужны в обилии грубые корма. Поэтому строительство плотин для лиманного орошения степных лугов он выдвигал на первый план.

Уже к тому времени в совхозе было более пятисот голов крупного рогатого скота. Естественные сенокосные угодья с трудом обеспечивали потребность в кормах. Только лиманное орошение могло способствовать повышению урожайности трав.

Каратумарская плотина позволяла оросить около двухсот гектаров лугов, а это означало, что совхоз дополнительно смог соб-

рать сена в пределах четырехсот тонн. Строительство пяти таких плотин, начатых в то время, по предварительным подсчетам, позволяло увеличить поголовье крупного рогатого скота до двух тысяч голов. С тех пор плотины ежегодно подращивают и укрепляют, а в окрестностях ведут коренное улучшение земель (распашку), подсеивают травы.

До плотины было еще порядочное расстояние, когда я заметил на лице Проскурина сильное волнение. Он то смотрел через лобовое стекло на дамбу, то высовывался в боковое окно кабины и наконец, прибавив газу, погнал машину напрямик, по бездорожью, на левое крыло плотины. Там, у самой кромки, сильно накренившись к воде, стоял бульдозер. Вокруг него бегал тракторист. Видно было, что он растерялся, боясь, что трактор вот-вот сорвется в воду.

Проскурин резко затормозил у подножия плотины, выскочил из кабины и, карабкаясь по насыпи, стал быстро взбираться.

Я еле поспевал за ним. Еще не добравшись до верха, он замахал обеими руками, приговаривая громко:

— Постой, постой! Не спеши! Сейчас!

Когда мы были уже рядом с машиной, он, обрадованный, что за эти секунды бульдозер еще не свалился, еле переводя дух, сказал:

— Глуши мотор!

Трактор, как показалось мне, был в безнадежном положении. Правая гусеница его лишь внутренней кромкой опиралась на грунт, остальная поверхность ее висела в воздухе, и казалось: малейшее неверное движе-

ние, и бульдозер рухнет в воду с высоты двадцати с лишним метров. Я так и решил, что никакое умение тут не избавит от беды.

Проскурин зашел наперед трактору, пригнулся к земле, всматриваясь, затем привстал и решительно махнул рукой.

— Опусти нож!

Тяжкая махина медленно осела, придавив лезвием грунт. Теперь как бы третья точка опоры образовалась у трактора. Проскурин облегченно вздохнул и поманил Звягинцева из кабины.

— Иди, закурим!

Когда закурили и вдосталь попыхали дымком, Проскурин не удержался:

— И куда же тебя занесло, петушиная твоя голова? Что теперь делать? Ведь вон она, вода-то, с нее глаз спускать нельзя. Это же гибель...

— Но, Михаил Данилыч! Ведь я же на целых полметра от края. Бывало, людей выручаю, а теперь сам погибаю. Кто же знал, что она осядет?..

— «Кто же, кто же?..» Ты должен знать... Вон она, поехала,— и указал Звягинцеву на то место у гусеницы, где предательски скатывались по насыпи комочки земли.— Смотри, смотри, садится, значит. Давай быстрее.

Он опрометью бросился с насыпи к летучке и, взяв из нее два железных штыря и кувалду, заспешил наверх, к трактору.

— Разматывай трос с бугилей! — приказал он Звягинцеву, а сам, не мешкая, стал вколачивать штыри в противоположный скат насыпи.

Звягинцев уже тянул трос, зацепленный за передний клык машины. Потом все мы начали натягивать его как можно сильнее на глубоко вбитые штыри, но трос не поддавался.

— Данилыч! Может быть, летучку сюда пригонишь? — сказал Звягинцев.

Проскурин посмотрел на него, немного помолчал.

— В принципе-то можно. Да только делать этого не буду: трос короткий. Сорвись трактор, и летучка там будет. Мы лучше вот что...

Между тем трос начал вытягиваться в струну, и было ясно: трактор подавался к пропасти.

— Мы,— говорил Проскурин,— сейчас на пускача его. Давай-ка, Толик, потихонечку...

— Да разве пускач потянет, Данилыч? Давай двигателем.

— Нельзя же двигателем,— отмахнулся Проскурин.— Он буксонет гусеницей, и трактор в воде. Тут слабая сила нужна, чтобы чуть-чуть.

— Ну, ну,— пробурчал Звягинцев.— Может, и так. А скорость?

— Первую. Только первую включай,— ответил Проскурин. И, будто вспомнив что-то важное, поднял кверху руку и сказал:— Погоди. Беды бы не натворить.— И побежал снова к летучке.

Оттуда он принес еще два штыря и попросил меня вбить их в пяти шагах от первых двух. Затем велел Звягинцеву заводить пускач. Трактор ожил, и все мы с волнением

ждали: счастливыми или неудачными окажутся первые движения машины? Какова же была наша радость, когда тронулись гусеницы, и трактор нисколько не подался вниз, хотя трос уже и ослаб.

Проскурин снова поднял руку и приказал остановиться. Затем мы перенесли трос на запасные штыри и ждали команды Проскурина, но ее не последовало. Михаил Данилович похлопал себя по лбу и сказал:

— Ведь мартышкин труд...

— Как «мартышкин труд»? — удивился Звягинцев.— Трактор идет верно.

— Да нет, не то. Сейчас он у нас вернее пойдет.— И, подойдя к штырям, смотал с них трос.

Занося его теперь к правой гусенице, стал привязывать за «башмак», приговаривая:

— Через час по чайной ложке.— А когда уже привязал, крикнул Звягинцеву: — Трогай помаленьку и смотри на меня: как махну — сразу глуши.

Глядя на Михаила Даниловича, можно было предположить, что он всю жизнь только тем и занимался, что спасал бульдозеры из такого критического положения.

Звягинцев завел пускач, и машина тихо тронулась вперед, поворачивая радиатором влево, на насыпь, потому что трос теперь, уйдя под гусеницу, стал ползти назад, натягиваясь. Трактор, опираясь на трос, сам же себя и вытаскивал. Как все было просто и надежно! Бульдозер уже стоял на твердом грунте обеими гусеницами. Звягинцев заглушил пускач.

— Теперь лезь в кабину,— сказал Проскурин.— Опасность миновала, запускай!

— Мотор? — неуверенно спросил Звягинцев.

— Ну, ясное дело — мотор,— засмеялся Проскурин.

Бульдозер рявкнул, вздрогнул, выбросив черный клуб дыма, прошел метров пять к середине насыпи. Всем нам было радостно, что обошлось все так хорошо, а Звягинцев спросил у Проскурина:

— Чего же раньше-то за гусеницу не привязал?

— Оттого и не привязал, что не догадался,— ответил Проскурин.

Считая разговор на эту тему оконченным, как будто и не было всей канители, он не спеша полез в карман за папиросами.

— Жарко, однако,— заметил Проскурин, вытирая вспотевшее лицо полой пиджака.

— Так в чем же дело? — сказал Звягинцев.— Водичка-то в самой поре. Бульдозер вон и тот был не прочь окунуться, а нам-то и подавно.

Проскурин замотал головой.

— Спасибо, Петрович. Купаться будем там,— и показал вдаль,— на Елизаровской даче...

— А там само собой,— не считая довод убедительным, с мальчишеской запальчивостью воскликнул Звягинцев.

— Ты во всем такой скорый? — улыбнулся Проскурин.— А я к тебе по делу. Башмаки для гусеницы мне дашь?

— У меня что, спецмаг?

— Да ведь соревнуемся же. Взаимовыручка у нас давняя, и земляки все же — кубанцы,— прищурил серые глаза Данилыч.— Тебе этих башмаков полдюжины привезли, а мне хотя бы парочку...

— Откуда вы знаете, кто и что мне привез? — хитровато блеснули глаза Звягинцева.

— Ну ладно, ладно, не шебурши. Земля-то слухом полнится. Мне ведь только парочку и надо-то.

— Небось, все для Лунева стараетесь? Как же, ученик все-таки ваш! — продолжал Звягинцев.

— Ученик не ученик, а на его трактор башмаки нужны.

— Ладно, пойдемте к моему куреню.

И они зашагали к левому крылу плотины.

На целине теперь имя Звягинцева звучит довольно громко. Герой Социалистического Труда, лучший механизатор, настоящий мастер производства, постигший многие тайны выращивания большого хлеба. Приехав на целину в конце пятидесятых годов, он из простого, не умудренного опытом сельского парня стал довольно быстро преображаться в смышленого, любознательного рабочего. Еще тогда Звягинцев понял, насколько важно быть специалистом широкого профиля, самостоятельно разбираться во всей хлеборобской технике. Ему удалось в совершенстве овладеть и трактором, и комбайном, и автомобилем.

Работа быстро увлекла его. Он понял, что окончательно, бесповоротно нашел свое ме-

сто в жизни, и уже не мечтал о иных путях-дорогах. Может быть, это призвание выращивать хлеб было унаследовано им от родителей — потомственных кубанских хлеборобов.

Шло время. Молодой старательный специалист стал все более вникать в секреты овладения хлебным богатством. Запомнился разговор с ним в начале шестидесятых годов. Теперь он может показаться не столь значительным, а тогда я воспринимал его как откровение.

— Вот вникни,— говорил Звягинцев.— Я хлеб посеял, перед уборкой колоски пощипал — приблизительный урожай мне известен. Не будем правду таить: урожаи у нас на целине пока что не кубанские. Центнер с гектара потеряешь — заметно. И если я его растил, хлеб этот, я за него и душой болеть должен. А бывает, случайный человек на уборке окажется. Прикинул, сколько ему гектаров обстричь, и уже в записную книжку цифру поставил, в рубли свое «старание» перевел. Увеличил зазоры у деков, рычажком повышенную скорость включил и пофуговал по клетке галопом. Только ветерок да пшеничка в солому посвистывают. Нет, так с хлебом обращаться нельзя...

Мне и сейчас тяжело вспоминать то время, когда оплата труда комбайнеру шла не за намолот, а за число убранных гектаров. Пшеница золотой россыпью меж стерней сверкала. Зато уж дикому гусю потом до самого снега благоденствие было. Сельскохозяйственное начальство с ружьями понаедет — охота славная получается. К подбитому гу-

саку подходит иной стрелок: трофей его лежит, шею вытянув, а изо рта не менее горсти пшеницы выплеснулось. И будто никому невдомек, кто этой пшеничкой с гусаком поделился.

А на перевозках сколько рассыпалось хлеба! Я как-то одному знакомому шоферу сказал об этом. На борту у него лозунг: «Ни грамма потерь!» Кузовок-то,— говорю,— у тебя течет, а написано что? Что ж, мол, из того, что написано, отвечает. Ошарашенный, я все-таки допытываюсь: зачем же ты, мил человек, пишешь одно, а делаешь другое. А он мне как-то так неприязненно: «Проворонишь ворохами — не соберешь крохами. Там вон, возле комбайнов, сыпать не надо, а тут капли считай». И поехал.

Не могу,— сокрушался Звягинцев,— душа не выдерживает. Хлеб ведь. По любой ниве еду, до зернышка подчищаю. Бригадир, понятное дело, волнуется: уборку, мол, затягиваем, другие быстрее ходят. Его, конечно, можно понять: зима-то не ждет. Да только какая же разница, что зерно в колоске останется, что рассыпанным по земле? Намолот-то все тот же.

Мне было приятно сидеть с ним рядом на прогретой солнцем земле. Необычным казалось то волнение, которым была полна его молодая душа. Думалось, в такие-то годы привычнее о какой-нибудь красавице потолковать, о любви, о больших планах на будущее, а он, поди ж ты, о земле, как о невесте, печется.

А Звягинцев с той же пылкостью продолжал:

— Домой-то прихожу, перед своими похвастать охота. Поздравить, мол, меня не мешало бы: сегодня пятьсот пятьдесят пять центнеров намолотил. А мне отвечают: «Что-то про тебя в «боевом листке» не пишут, а вот про Виктора — да! Тридцать пять гектаров валков обмолотил — две нормы!» — «Так ведь,— говорю,— фикция это. Площадь большая, а хлебушек-то — в солому. У меня хоть и гектаров мало, зато намолот большой».— «А заработок?» — спросят.

Заработком Звягинцев себя иногда обижал, зато пшеницы намолачивал за уборочный сезон по десять — двенадцать тысяч центнеров с шестисот — семисот гектаров. Каждая уборка для него не только напряжение всех физических сил, но и этап духовной самопроверки. Перед началом страды всегда объезжает поля сам, иногда — с бригадиром Анатолием Григорьевичем Падалко. Болеет душой за то, чтобы лучшие урожайные клетки не достались случайным людям, которые допускают большие потери.

— Пробежать, простричь поле не проблема,— говорит он.—Намолот нужен.

И ежегодно по намолотам сам не выходит из тысячи тонн зерна. Его так и зовут у нас — «тысячник». Хлеб косит на свал широкозахватной жаткой ЖВН-10. Таких жаток теперь, к сожалению, не выпускают, но целинники очень высоко ценят их.

Звягинцев мне рассказывал, что у десятиметровки и производительность высокая, и жнецкие качества отличные. Валок на стерню она кладет рулоном, как бы свивает его, и

при обмолоте брать его намного легче, чем после жатки с шестиметровым захватом, которая часто, особенно при низкорослом хлебе, рассыпает валок по жнивью.

— Рано от десятиметровки отказываться,— заключает он.— Особенно на целине, где такие огромные хлебные массивы. Жатку эту, видимо, надо модернизировать и снова наладить ее серийное производство.

В этой же беседе он высказал свое мнение и насчет скоростных методов труда в земледелии, без ущерба для качества. По его словам, главное здесь заключается в том, чтобы следить за работой механизатора и помогать ему совершенствовать свое мастерство, а когда человек выполняет одну и ту же работу — в зависимости от сезона,— он специализируется и тогда обеспечивает высокую выработку и хорошее качество.

— При случае надо уметь всякую работу делать,— говорил он мне,— а основное свое занятие должен выполнять с виртуозностью. Вот это, я понимаю, и есть специализация.

Мне не единожды приходилось видеть, как трудится сам Звягинцев. Осенью он обрабатывал поле под зябь. У нас теперь редко говорят «пахал», как говорили в первые годы целины, потому что землю сейчас при взмете зяби не пашут, а именно обрабатывают безотвальными орудиями—глубокорыхлителями и плоскорезами. Метод этот внедрили целинные ученые во главе с академиком ВАСХНИЛ Александром Ивановичем Бараевым. При этом методе одним выстрелом убивают двух зайцев: предохраняют почву от эрозии —

пласт-то не переворачивается — и накопляют на полях больше влаги в зимнее время, ибо стерня остается нетронутой и прекрасно задерживает снег.

Звягинцев работал на двадцать первой клетке, недалеко от полевого стана. Ровными строчками до самого горизонта уходили еле приметные следы плоскореза, и казалось, что тракторист по линейке их прочертил. Выехав на край загона, Звягинцев развернул трактор поперек поля и остановил. Сошел на землю, отер руки и стал закуривать.

— Денек-то! — пыхнув дымком, улыбнулся он.

Денек действительно выдался тогда отменный. Под плотной синью осеннего неба, обласканная теплыми прощальными лучами, нежилась бескрайняя степь. Придавленная вчерашним суровым холодком, сегодня она просияла.

Звягинцев жадно затягивался, блаженно крутил головой.

— Чудо-то какое! Человек настоящих слов для этой красоты еще не придумал. Все только приблизительно. «Ах, как хорошо, как восхитительно!» Вот и все слова. А тут ведь... Да нет, молчу, не по моим силам...

Бросив окурок под ноги, потихоньку придавил его. Отошел от меня шагов на пять-шесть.

— Вот так,— рассек он ладонью воздух,— тюльпаньи луковицы вдоль дороги посажу. Они не сорные, безвредные. Весной приеду сеять, а тут — цветы: синие, красные, желтые — разные. Мать моя милая! Красотища-

то какая! Люди увидят: «Смотрите, смотрите, живая радуга на земле!» Верно ведь?!

— Душа твоя просторная,— ответил я ему, а сам подумал: «Какой же ты интересный человек! Не только черновая проза труда, но и тонкая ее поэзия не чужда тебе. Вечно преисполнен желания давать жизнь всему доброму, прекрасному... Золото этого пахаря на земле, где он работает, потому-то и на груди у него золото — звезда Героя».

Вспомнились сейчас и его слова, сказанные по возвращении из Москвы, где он принимал участие в работе Всемирного конгресса миролюбивых сил.

— Главное — чтобы был мир, а мир — это жизнь. На конгрессе прямо говорилось, что мы боремся за право на саму жизнь, за избавление от опасности ее уничтожения в пламени войны.

Теперь, подходя к нашей машине вместе с Проскуриным, Звягинцев, слышно было, заметил:

— Мир вам, и я к вам. Только так надо сейчас и жить. Пусть там не горячатся: на горячих воду возят.

Он помолчал, а потом заговорил о другом:

— У вас ремни вариаторные на складе есть?

— Маловато. Но тебе послезавтра завезу,— отвечал Проскурин.— Уха будет?

— Что за разговор? Тройную заварю. И не со снулой рыбой, а со свежей. Карасики здесь славные, да и линьки тоже.

— Ну, тогда до послезавтра,— сказал Проскурин.

— Пока.— И Звягинцев помахал нам на прощанье рукой...

От Каратумарской плотины дорога повела нас к западу и вскоре вывела к пшеничным полям. Я не узнавал теперь тех мест, где всего полтора месяца назад, поднимая к небу легкую пыль, ходили по клеткам сеялочные агрегаты. Теперь кругом бушевали зеленые хлеба. Они уже, пожалуй, обрели полный рост, ударились в стрелку и начинали набирать колос. Хлебное поле имеет свою притягательную силу, особенно когда оно велико. А велико оно здесь до удивления. И по какому-то непонятному желанию хочется обозреть все, от края до края.

Но охватить такую вот безмерную ширь не было возможности, и потому возникало подспудное опасение: хватит ли сил и времени убрать это бескрайнее море хлебов с легкой зыбью уже бледнеющей бирюзы? Эта зыбь, рождаясь где-то у дороги, уплывала вдаль, дробясь и перехлестываясь. Мне остро захотелось самому окунуться в это пшеничное море, своими руками добывать хлеб.

В посевную мне не раз приходилось быть сеяльщиком, а в уборку — рабочим на току, но все это не могло сравниться с косовицей и обмолотом хлебов, где зерно из твоих рук потоком льется. Я хотел было уже сказать Проскурину, чтобы взял меня помощником на комбайн, да засомневался, ведь мои познания техники не выходили за рамки рулевого колеса да того самого дросселя, о котором

Проскурин говорит, чтобы поменьше на него надеялись.

— Дождичку в это время надо,— прервал мои мысли Проскурин.— Перед цветением хлебушку он о как нужен! И покосу бы не во вред. От одного дождя беды для сена не будет. Люблю с хорошим колосом воевать,— с улыбкой продолжил он.— Иному ведь все равно, какой хлеб земля уродила. Для него лишь прогоны. По-моему, интерес не в том, что много пробегал по полю, а в том, когда зерно за тобой отвозить не успевают. Вот это работенка!..

Мы объехали пологую гривастую сопку, и снова открылась широкая панорама полей: слева под ветром колыхались травы, справа — пшеница. Впереди завиделся полевой стан седьмой бригады Армавирского совхоза. Белые, как грузди, домики утопали в кронах зеленых деревьев, а высокая башня механического тока будто дрожала в дымке степного марева.

Проскурин, поскребя рычагом переключения передач, завертел головой, посматривая в обе стороны: не миновать бы чего интересного. Он ревностно всегда относится ко всяким новшествам, особенно к новшествам армавирцев, с которыми с давних пор ведется трудовое соперничество.

Уже чувствовалась человеческая обжитость места по многочисленным тракторным и мотоциклетным следам на дороге, по проплывшей мимо железной бочке, по окропленному соляркой спорышу на придорожном окрайке. Ближе к полевому стану навстречу

нам шел тракторный грейдер, планируя дорогу, а на другом межклеточном проселке — левее от нас — уходил в синюю, необозримую даль другой трактор, с дисковыми лущильниками.

— Видал, как у них? — быстро уловил Проскурин.— До уборки еще далеко, а пути к хлебу уже готовят.

Он говорил почти сам с собой, жадно осматривая окружающее.

— Ох и хитер, чертяка. Добрый хозяин! Уважаю, когда в человеке хозяйский пульс бьется. Добрый, добрый! — еще раз повторил он.— Спиридонова ученик. Первоцелинник, коммунист...

Так Проскурин аттестовал бригадира седьмой армавирской бригады Владимира Арсентьевича Троценко. Мы ехали сейчас по его владениям. С последней нашей с ним встречи многовато времени протекло, а все казалось, будто весь срок уложился в неделю. Бегут деньки, как смазанные лыжи по проторенному следу, а скоростенка больно-то не радует. Широки человеческие планы, если задуманное на десятилетие стараешься в немногие годы уложить.

С Володей Троценко встречаемся мы как добрые товарищи. Я-то его за горячие дела люблю и немного удивляюсь, что ко мне он как к собрату-хлеборобу относится, будто я общей заботушкой с ним связан. Заботушка-то, может, и есть, да дела ведь разные у нас. Возможно, мое искреннее желание поглубже вникнуть в хлеборобство располагает его ко мне.

Летучка остановилась возле белоснежного здания столовой. Почти не веря глазам, узнаю своих бывших школьных учеников — Алика Нурумова и Вову Князева. Какое-то особое чувство собственной причастности ко всему, что происходит на этих просторах, пронизывает мое сознание при виде этих загорелых здоровяков парней, с головой окунувшихся в большое дело. Только в глазах их светится теперь не слепое безусловное доверие, а уже сознание личной значимости. Однако прошлое не успело в них улетучиться, не забыли они и своего бывшего учителя. Это чувствовалось и по тому, как скромно руку подали и как душевно заговорили со мной.

— Володя! — басовитым голосом позвал Алик бригадира.— Гости приехали.

Из столовой вышел Володя Троценко и подошел к нам. Было ему лет под тридцать, может, поболее. Взгляд востер из-под смоляных бровей. Солнце точно усушило его — сухощав. И ладонь он подал сухую, твердую.

— От имени усего радянського народу... Оце гарни таки гости. Приветствую и поздравляю! — проговорил он шутливо.

Стиснув ладонь Проскурина своей длинной ручищей, бросил накоротке:

— Этот, знаю, зычать приехал.

Отмахнул его руку и принялся трясти мою:

— Давненько, давненько... Как говорится, сколько зим, сколько лет! Я тут сюрпризик приготовил. Но этого молчуна не удивишь. (Кого он подразумевал под «этим», я сразу

понять не мог.) Ты ему убитого медведя показываешь,— продолжал Троценко,— а он головой в землю уперся: «Нет, ты скажи-ка мне, как ты в него целился?»

Зная привычку Троценко говорить всегда загадками да намеками, я сделал вид, что понимаю, о чем речь. Подвернувшейся басенной рифмой ответил ему:

— Чему обрадовался сдуру! Знай колет, всю испортил шкуру.

— Эх, друг, тебя-то я никогда и не забываю.— А затем сказал всем:— Давайте до хаты. Под такой жарищей подохнуть можно.— И Троценко, не ожидая нашего согласия, направился к общежитию, обещавшему избавление от июльской жары.

Деревья, посаженные вокруг, вымахали вровень с крышей, а в палисаднике разноцветными бутонами полыхали цветы. Тут особо чувствовалось человеческое желание изменить лик природы, не нарушив его гармонии излишними прихотями.

— Ну, чем же вас угощать? — уже за столом спрашивает Володя, преображаясь в гостеприимного хозяина.

У Проскурина, как я заметил, не было расположения засиживаться. Всем своим поведением он давал понять, что заехал сюда неспроста, по делу. Заметил это, видимо, и Троценко, но виду не подал, продолжая распоряжаться.

— Извини, Данилыч,— сказал он,— консервов у нас в бригаде уже давно нет. Может, свежим овощем побалуемся? Ну-ка, Иван, неси.

Лицо его, светясь веселостью и беззаботностью, как бы говорило: о важных делах беседовать нет настроения, хотя знал, что не по пустякам Проскурин по степи шастает. Иван вынес и поставил на стол свежие огурцы в каком-то квадратном ящике, от тумбочки видно. Закопченная солнцем и соляркой его увесистая ладонь разжалась над столом, и, будто выпаренная на солнце, чистой снежной белезны грудка мелкой соли появилась на незастланном клеенкой столе.

— Шуруйте, гости милые! — предложил Володя, и темные его глаза, словно призаняв у ночной звездочки яркости, заиграли самодовольством.

— Так это что, с базара? — спрашивает Проскурин.

— Ну да, с базара,— подмигивает мне Троценко.

— Дороговат овощ получается,— распластывая и присаливая пупыристый огурец, с упреком замечает Проскурин. Уловив хитрую ухмылочку на лицах сидящих, отрубил: — Центнер пшенички — на килограмм зелени. До базара-то верст двести. Ну-ка, сколько бензину сжигаете? Виктор Авдеевич, небось, такой расточительности вас не учил? Да и нынешний ваш директор умерен в расходах. Надо будет подсказать ему.

— Вот ведь какой прокурор! — рассмеялся Володя.— Ну, давай, давай...

А Иван Соловой сказал:

— Мы бы сами, дядя Миша, на базар отвозили. Да правду говорите: дорога слишком длинна.

Для Ивана, может быть, это и есть тот самый случай, когда перед уважаемым человеком свою гордость показать приятно. Проскурин обводит всех сидящих недоверчивым взглядом и, уверовав, что подвоха нет, кривит рот в полуусмешке.

— Хоть бы показали, идолы!..

Уже вышагивая по огуречным грядкам, осторожно ставя ноги меж лопушистых листьев, уважительно тычем пальцами в бокастые огурцы. В дальних совхозах овощи до сих пор еще проблема из проблем, а тут, пожалуйста: Троценко разбил плантации, построил парники, теплицы и выращивает овощей столько, что хватает бесплатно кормить всю бригаду да еще и соседям раздавать «за здорово живешь».

— Но почему твой опыт не перенимают другие, наши например? — уже волнуясь, спрашивает Проскурин у Володи.

— Опыт опытом, а дело делом,— отвечает Троценко.— Ваши же брали у меня семена. На том и кончилось: парники до сих пор не построили. А у нас скоро и помидоры, и капуста, и морковь, и арбузы пойдут. Было бы желание да руки.

— Два ноль в твою пользу,— улыбается Проскурин.— Домой приеду, вынесу вопрос на партийное собрание.

Троценко утвердительно кивает головой, продолжает:

— Бахчу размещаем там, где таволожки много. Заметили, что этот кустарник и арбуз сродни вроде: теми же соками питаются. Вот по-над Тенгизом и сеем. Земля там песчаная,

а солнце жарит, аж спасу нет, зато и дождики частенько ходят. Ох и арбузы! Чисто медом нагрузают.

— Ладно тебе, «нагрузают»,— с напускной серьезностью говорит Проскурин. И деловой его взгляд зашарил по прилегающим окрестным постройкам.— Схожу к тебе на машинный двор, может, жатку присмотрю,— и пошагал в сторону.

— Постой, постой! А обещанный стогометатель? — закричал во след Троценко.— Он тут, понимаешь, как хозяин...

— Да будет тебе стогометатель. Сказал же...

— А нехай его,— махнул рукой Володя и, будто прерванный на самом интересном месте, собирался с мыслями.— Значит, это... маленький сейчас проминчик сделаем. Тут в двух верстах. Вот ты сам увидишь.

Когда я, сообразив, сказал, что пшеничкой его мы уже любовались, и похвалил, разумеется, от всей души, Троценко замотал головой.

— Но то еще не пшеничка, которую по пути сюда вы видели,— разгорячился он,— то младшая сестричка.

Повернувшись в сторону, крикнул, обращаясь к одному из механизаторов:

— Петрович! Одолжи «Москвича», малость прокатимся.

Мы подошли к почти новому еще «Москвичу», и Володя тотчас предложил мне руль.

— Знаю, старый автолюбитель. Проехать хочется, аж живот, видно, болит,— сказал

он.— Вон по-за тем сарайчиком, направо. Тут дорога ровная.

За мазаным сарайчиком сразу пошла уже заколосившаяся пшеница. Снова, оказавшись между шпалер хлебостоя, я почувствовал себя как бы мотористом-катерщиком на безбрежной водной глади. Суденышко твое осело на полкорпуса, а волны за бортом вытягиваются в плотные валы, и бежит, бежит бесконечное море хлеба. Сколько я ни засматривался на эти пшеничные шири и дали — в бирюзовый ли период роста стебля, или в последние недели созревания колоса, когда янтарный покров сменяет зеленый наряд,— вечна и нерушима оставалась цветовая связь солнечного неба и пшеничного поля. И не только там, далеко у границы, где лиловеющая даль сращивает эти два великие начала, а тут вот, в полустах шагах от тебя, блещет, играет это вечное зеркало природного единения.

— Сейчас последний поворот будет. Вот сюда теперь,— скомандовал Володя.

И началось такое, что я не поверил своим глазам. Машина как бы сразу осела, и упругие, в ружейный патрон колосья замелькали вровень с боковыми стеклами. Я остановил машину. Плоскость общего зримого среза проходила теперь, должно быть, не менее как на метр от земли. Признаться, такой пшеницы я не видел никогда. Ох, как хотелось ее потрогать, взять несколько стеблей и, пропуская в горсти, дойти до колоса, ощутить его в ладони. Это был действительно хлеб-богатырь. Я стоял, потрясенный зрелищем, а Тро-

ценко заглядывал мне в глаза, шутливо приоткрыв рот. Наконец он засмеялся и сказал:

— Вот, едрена Матрена, как работать-то надо! — и расхохотался еще пуще.— Секретец, Василич, секретец один постиг.

Он стал рассказывать свой «секретец».

— Технология выращивания казахстанской пшеницы предписывает строго ограниченные сроки высева. По нашему краю тоже. Оптимальным сроком считаем время с пятнадцатого по двадцать пятое мая. Тут учитывается раннее прорастание сорняков и уничтожение их культиваторами. Кроме того, наблюдения показывают, что если посеять именно в указанные сроки, то кущение пшеницы совпадает с июньскими дождями. Все тут правильно, ни с чем не поспоришь. Но ведь место месту рознь. У меня под рукой озеро Тенгиз. Это тебе не деревенский пруд с двумя десятками лягушек. Целое море! Тенгиз сам свою погоду делает. Я вот присмотрелся и подсчитал: сроки сева в районе Тенгиза можно перенести на неделю, а то и полторы недели вперед. Сорняки к этому времени готовы к культивации, а хлебные всходы, нуждающиеся в дождях, получат от Тенгиза как раз то, что им нужно. Значит, я ничего не проигрываю, а только выигрываю. В моем распоряжении лишние семь — десять дней вегетационного периода, а стало быть, больше солнечной энергии, которая нужна колосу. Вот тебе и результат.

Результат действительно был довольно убедительным. Но не случайно ли тут повезло бригадиру? Я сказал об этом Володе.

— Уже проверял,— прижав к груди оба кулака, стал убеждать он меня.— Уже три года к этому прицеливаюсь.

— Ну, и как на это смотрят в райсельхозуправлении? — спросил я, в душе недоумевая Володиной горячности.

— Слышать кое-кто не хочет. Не мудри, мол. Люди поученее тебя над этим головы ломают. Терентий Мальцев какой нашелся.

— Так вот ты им теперь и покажи...

— Не им, а ему,— поправил Троценко.— Весной видел меня за этим занятием агроном райсельхозуправления, да как взорвался! И слова-то нашел какие-то кирпичные. Да сразу мне ими по голове. А теперь и не едет, молчит...

— Так вот, оказывается, о каком молчуне и о каком медведе говорил ты в начале нашей встречи,— сказал я ему.

— Ну да,— ответил он,— о нем. А мне хоть и не очень нужно с ним встречаться, а показать все же хочется. Это же мой козырь. Он, должно быть, прослышал и теперь даже взглянуть из твердолобой гордости не решается. Я так это дело понимаю.

Свои недоуменные раздумья я стал выражать вслух. Мне и в самом деле все это казалось более чем странным. Однако Володю мои рассуждения, видимо, не заинтересовали: практической ценности в них было мало, и Троценко это прекрасно понимал. Он зашел в пшеницу, и рослая, плечистая его фигура по грудь утонула в ней. Уже из тех зарослей он, лаская колосья ладонями, продолжал говорить о своем сокровенном:

— Когда сеял, семена почти все откалибровал, выбрал самые крупные, самые жизнеспособные. Наши урожаи давно позволяют засыпать семян столько, чтобы навсегда отказаться от посевного материала второго, тем более третьего класса. Это ведь, Василич, праправнучка той пшеницы, что, помните, градом поколотило? Помните, как мы еще с Виктором Авдеевичем воевали за ее жизнь?..

Наконец, насладившись созерцанием собственного детища, Троценко выходит из пшеницы и, довольный моей похвалой, садится в машину.

— Трогай, еще маленько проедем. Тут у меня еще одна новорожденная,— опять загадкой насторожил он меня.

За двумя или тремя поворотами потянулась межклеточная дорожка, как бы отрезая то дивное поле от другого, не менее примечательного. Показалось что-то необычное и по цвету, и по незнакомым остристым, вдоволь напитанным соком листьям. А более всего удивили какие-то увесистые шапки-султанчики.

— Откуда камыш? — не удержался я, но тут-же понял, что сплоховал. Володя аж прыснул со смеху.— Постой, постой! Так ведь это же просо, дьявол ты этакий. Ей-богу, подумал, что камыш.

И опять в «Уссурийский край» попали.

— Вот что Тенгиз-то вытворяет! — доставая из кармана складной метр, ликует Троценко.

— Да чего его мерить! — кричу ему.— Видали мы просо, братец! Не аршином его

меряют, а кистью. По сколько взять рассчитываешь?

— Не менее тридцати центнеров с гектара,— удерживая на метре какую-то заметину, отвечает Володя.— Вот и прибрось, переведи на восемьсот гектаров.

Цифра получилась внушительная. «Не для проса ли определить эти земли?» — подумал я.

— А пшеница по скольку дает? — спрашиваю у Володи.

— У нас так. На всей площади в пять тысяч гектаров ежегодно, как в старину говаривали, сам сто дает. В пудах, разумеется. Иной год и по сто двадцать вытягиваем. Чистой прибыли от зерна триста — четыреста тысяч рублей берем, при себестоимости центнера пшеницы вполовину меньше плановой.

Троценко принялся рассказывать о технологии земледельческого процесса от вспашки до сбора урожая.

— И еще тут один вопрос немаловажен: постоянство кадров,— объяснил он.— Ежегодно обходимся почти без посторонней помощи. Как ни говори, а своего тракториста посторонним не заменишь. Человек все же за свой урожай болеет. Вот где она и себестоимость. Ну и хозрасчет, разумеется, безнарядная система. О ней у нас как-то шквалами, кампанейски разговоры разговаривают, а дело все еще слабо продвигается. Но все равно никуда от этого не уйдешь, потому что созрело это дело, и сама жизнь свое обязательно возьмет.

Мы едем берегом Тенгиза. Одинокий серый гусь низко летит над полем по направлению к бригаде.

— Это мой Прошка,— говорит Володя.— Его сородичи линяют сейчас, а он пока что полетывает.

Я слышал уже о Прошке — диком гусе. Год назад Володя нашел его еще гусенком, чуть живого, выходил, выхолил. Прошка стал красивым, сильным гусаком. Гордости в нем хоть отбавляй. Привязан только к своему хозяину. При попытке кого-либо изловить его в присутствии хозяина, убегает кругами, а то полулетом, вытягивает шею и все с надеждой посматривает на своего покровителя, а затем вдруг разворачивается и щиплет преследователя морковным клювом, а иной раз пускает в обидчика зеленовато-белую струю под общий хохот присутствующих.

— Так его, Проня, так!..

В бригаде все Прошку любят. Грустят, когда улетает он на озеро, пропадая там по целым дням. «Уйдет ведь когда-нибудь»,— заметит кто-то, а Володя убежденно: «Не уйдет. Гусь — птица умная. Хлеб-соль никогда не забывает».

Когда мы подъехали к полевому стану, остановились и вышли, Проскурин спросил у Володи:

— Жатку-десятиметровку дашь на время уборки? Есть там у тебя одна лишняя.

— У меня ничего лишнего нет,— запротестовал Троценко.— Для своего ученика Петра Филатова стараетесь? Он у вас и так каждую осень по тысяче гектаров скашивает.

— Скашивает не скашивает, ты прямо скажи: дашь?

— Куда же от вас денешься, берите,— ответил Троценко.—Но чтобы стогометатель мне — завтра.

— Приезжай,— сказал Проскурин и снова спросил: — Плугов наших возле вышки, на бугре, не брал?

— Не брал, но знаю, кто взял: кирейские хлопцы. Они там залежь решили распахать, я разрешил им взять. Да ладно, привезут,— заверил Троценко, приглашая нас осмотреть другие плантации на своем огороде.

Картофель заселился на порядочном клочке земли и поник сейчас буйной ботвой долу. Зелеными шпалерами разбежались грядки лука, моркови, свеклы, а по ним, как длинноногие аисты, замерли побуревшие, в круглых шапочках-зонтиках стебли укропа.

— Огородец у тебя славный,— причмокнул губами Проскурин.— Пришлем своих овощеводов за опытом к тебе. У нас тоже такие спецы есть, что от тебя не отстанут.

Мы поблагодарили Троценко за радушный прием и пошли к своей машине.

Выруливая на полевую дорогу, Проскурин сказал мне:

— Силен мужик. Добрый хозяин, а ведь не так уж и пожилой. Не в летах, видно, дело. Иной всю жизнь то тем, то сем займется, а потом оказывается: всегда не тем. А земля не любит таких. Вон у других наших соседей, во второй бригаде особенно, бурьяны

развели на полях такие, что волки со всего света сбежались туда плодиться. Тот же Троценко четыре норы раскопал: в каждой по пять-шесть волченят. Хоть волка природным санитаром считают — ученые пишут об этом, может, так оно и есть,— но не разводить же этих санитаров на хлебном поле!

Машина легко и мягко катится по наторенной дороге, ветер задувает в кабину запахи зеленого хлеба и мятника.

— Оно в моем понятии как? — продолжает неторопливо Проскурин.— Землей хозяйствовать умеючи надо. Вот их возьми, армавирцев. Ведь больше нашего хлеба всегда сдают, а площади почти одинаковые. Почему так? Потому что с землей они — не разлей вода. Вот каждый год и с хлебушком. И сено тоже. Мало того что свои луга выкосили — на наших начали гулять. Мне агроном говорит: «Ты у нас председатель группы народного контроля — разберись». Разбирался. Их бригадир Петр Быков ответствует: «Сам рассуди, Данилыч, травы в цветении, а вы резину тянете. То у вас не ладится, другое, а время не ждет. Потеряют травы калории. Взял да и скосил, затюковал. Уплатите за труд да возьмите свое сено. А? Вот это и есть настоящий подход к делу. Не зря Быкова членом бюро райкома партии избрали. Как думаешь, Быков правильно поступил?

Я не решился ответить сразу, но мне особенно понравилось такое в Проскурине: выскажет свое суждение с жаром, убежденно и посмотрит в глаза для проверки самого себя: прав ли до конца.

— Правильно,— после некоторого раздумья ответил я.

— И я так считаю. А агроном — на дыбы. «Мы,— говорит,— сами бы выкосили». Сами-то сами, но когда? Когда засоломится трава? Мы, дескать, соревнуемся с ними, а они с нашего счета денежки будут снимать? То ведь сено для наших буренок пойдет! Все равно за его заготовку кому-то платить надо, а Быкову спасибо нужно сказать: выручил. Это и есть соревнование, взаимовыручка. А труд людей на сенокосе у нас надо организовывать по их методу.

Он убавил газ и повел машину по еле приметной в траве стежке. Справа, откуда ни возьмись, выскочили на дорогу пять рогачей-сайгаков и помчались гуськом впереди летучки. Долго бежали так, но не могли оторваться. Видимо, жара сказывалась. Наконец, завидев пшеничное поле, свернули в него, остановились.

— Что с них возьмешь? — оживился Проскурин.— Доверчивы, как дети. А хапугам наруку. Хуже всякого зверя терзают. Недавно встретил таких в степи. «Нечеловеки вы»,— говорю. «Как это нечеловеки? — наперли на меня.— Пару сайгаков добыли, значит, нечеловеки?» Добро-то, дескать, народное, а народ в зверя стрелять не моги? Напирают, угрожают, обзывают бешеным чертом. «Чего,— говорю,— глотки дерете? Напугать думаете? Не на такого напали». Пошел на одного грудью. «Кого пугаешь,— говорю,— твой сын вырастет, спасибо скажет не тебе, а мне, черту бешеному. Убери дробо-

вик!» — закричал ему, ногой аж притопнул. Оторопел, стервец, ружье опустил...

Данилыч помолчал, вперив взгляд куда-то далеко вперед, точно уже заметил те дали, в которых узнавались контуры завтрашнего дня, во имя чего стоило заботиться, уставать, расставаться с теми, кого считал друзьями, крутить баранку, часами не покидая раскаленной жгучим солнцем кабины.

— Кричу ему: «Я на вражеский пулемет, слышь, ходил, когда ты на черешне последние отцовские штаны протирал!» — Проскурин вдруг умолкает, а затем говорит задумчиво: — Человек без сердца — пострашнее зверя. К нему с понятием, с душой, а он, подлец, за ружье хватается.

Утерев лицо рукавом, он тяжело вздыхает. Лицо у него разморенное усталостью и духотой.

— Передых надо сделать,— решительно заявляет он.

Мотор глохнет, и мы снова погружаемся в степную тишину. С высокого угорья хорошо видна тихая гладь воды. Прибрежная рябь ласкает золотые пески. От тяжкой жары притихла, попряталась жизнь, только изредка в густой осоке попискивают кулички-зуйки.

— Вот это и есть Елизаровская дача,— объясняет Проскурин, снимая рубашку и располагаясь на краешке крутого обрыва.

Я взглянул на него. Суховатый, незагорелый. Только шея да пониже к рубашечному распаху не уберeглась от ветра и солнца кожа. На фоне густой зелени камыша он ка-

зался хилым. Подумалось: «А ведь неистощим Данилыч! Откуда только сила берется?»

— Раздевайся, полечимся,— шлепает он ладонью рядом с собой.— Стоящая, понимаешь, процедура. Вот буду пенсионерить, построю здесь шалаш и начну лечиться, сил понемногу набирать,— мечтательно рассуждает Данилыч.

Я и раньше слышал об этой Елизаровской даче. Собственно, дачи никакой нет. Не стоят здесь домики, не отдыхают и дачники. Одна лишь речушка с несколькими омутами, обрамленными береговым чилимником, осокой, да Тенгиз рукой подать. Но вода в этих омутах, говорили мне, целебная. Обнаружил ее первоцелинник Елизаров. Распахивая степную крепь, он несколько раз искупался в этой реке. Через неделю раздраженное бензином и соляркой — видимо, склонное к аллергии — тело не нуждалось уже ни в каких мазях. Теперь и мне представился случай поплескаться в этих омутах неказистой на вид степной речушки.

Однако было любопытно, от каких недугов собирается лечиться Проскурин? Что же касается персонального шалаша, то тут уж сплошная фантазия. Я бы мог поручиться, что Проскурин, пока у него есть силенка, вообще не сможет оставить свою привычную работу, расстаться с людьми, без которых жить не может.

Раздумывая так, я спросил его: от каких недугов собирается лечиться? Он хитро взглянул на меня, улыбнулся, подмигнул и пошел в воду.

Я последовал его примеру. Вода сразу показалась мне необычной. От икр до самого пояса тело приятно покалывало микроскопическими иголочками. Казалось, что кожа прогревается, немного утрачивает чувствительность.

Проскурин, уже лежа на спине, смешно выпячивая в мою сторону голову, командовал:

— Да ты ложись, ложись! Всем телом пластайся, чудак! Это же настоящие процедуры.

Он даже руками мне помахивал, не нуждаясь в них для плавучести.

— Ложись, не потонешь!

Я теперь лежал на воде, не шевеля ни руками, ни ногами. Тело держалось само на плаву.

Данилыч, вспучивая щеки от удовольствия, восклицал:

— Это же ведь фантазия, вода тебя держит на себе! Чудо, мираж!

Я попробовал воду на вкус и тут же выплюнул с отвращением. Она оказалась горько-кисло-соленая, вяжущая рот, с резким запахом сероводорода.

— Да ты встань ногами на дно! — кричит возбужденный Проскурин.— Песок-то какой теплый!

Песок и в самом деле оказался теплым. Я поковырял его носком. Глубже он оказался почти горячим.

— Ученые уже были,— толкует Проскурин,— одобрили. Не за горами время, когда целинный санаторий откроют. Он помолчал,

поплескался, а потом заключил: — Санаторий имени Елизарова. Вот уж верно, что человек умирает, а имя его живет.

Присев после купания на бережку, мы закурили. Каждый продолжал еще жить впечатлениями «процедуры», и от этого не находилось слов для разговора.

— Так по какой же причине целебность этой воды тебе необходима? — прервал я молчание.

— Пропадает даром добро-то какое,— ушел он от ответа.— Ведь тут же большие тыщи людей спасение найдут. А мои кости еще нескоро сотрутся.

Я поинтересовался Елизаровым. Посмотрев на солнышко и подумав, он сказал:

— О, эта страница переживательная.

И я услышал трагическую историю, которая случилась с первоцелинником Елизаровым. Вот как это было.

Бураны в первые годы освоения целины молодецки по степи разгуливали. Не было тогда ни лесозащитных полос, ни противоэрозийной системы земледелия с оставлением стерни на полях, не велось и снегозадержание.

Елизаров поехал на станцию Джалтырь за дизельным топливом. Была тут у метельного беса передышка небольшая. Знать, устал от беспрерывной круговерти. Уже обратно возвращался Елизаров, и трехкубовая цистерна с соляркой податливо ползла на санях за трактором.

Погода все же закапризничала, разгулялся буран. И не то страшно, что против снеж-

ного вала трактор может не выстоять — Елизаров на машину надеялся,— дорогу бы не потерять. А лучше сказать: какая уж там дорога тогда была! Направление соблюсти. Но направление Елизаров не потерял: до совхоза уже верст десять оставалось. Вдруг в непроглядной тьме еле приметно замаячил свет. К тому ж совсем в стороне. И подсказал внутренний тревожный голос: люди в беду попали. Повернул трактор, по целику пошел на свет мигающих фар...

— Тут тебе все обсказать — слов не сыщешь,— продолжал Проскурин.— Я ведь сам в передрягах бывал не раз. Вот тоже так. На помощь кинешься — видишь, человек у машины хлопочет. Жиклер продувает, проводку проверяет, что-то подкрутить пытается. Оно хоть и трудно ему, бедняге, а все ж шевелится. А тут Елизаров открыл кабину: шофер и женщина с двумя детьми полузамерзшие. ЗИС-пятый с кирпичом залез в колею по оси. Женщину, детей Елизаров к себе в кабину забрал, а ЗИСа тросом за клык зацепил. Попробовал тянуть сани и машину, не идет дело, буксует трактор, оседает, юлит на месте. Отцепил сани, поволок машину за собой.

Притянул в совхоз, людей — в тепло, а сам без передыху за санями подался. Но во второй-то раз возвернуться ему не суждено было: гусеница проклятая слетела. Где уж ее натянуть одному на морозе! Пешком пошел да замерз. В камышах его под берегом нашли. Вот такой он, значит, был Николенька Елизаров!

— А почему его одного отпустили?

— Ночь ведь кругом. Сторож в конторе крикнул ему: «Постой, подмогу сыщем!» А он рукой махнул: «Недалеко тут...» Машина, дескать, исправна. И был таков. Не хотел, знать, людей канителить.

Проскурин замолчал. Тяжкое воспоминание продолжало жить в нем. Потом добавил:

— Не исчезает бесследно человек, он и рождается и вырастает на людях, а заканчивая свой путь, за добрые свои дела остается в памяти на долгие времена как все еще живой.

«Газик» наш снова мчится по неоглядным просторам знойной степи. Данилыч сосредоточенно всматривается в дорогу, слегка покручивая баранку. Я понимаю его молчаливость:

— К Быкову заедем, тут недалеко, мне дельце одно надо обмозговать,— произносит он коротко, выходя из задумчивости.

С Петром Ивановичем Быковым — бригадиром Армавирского совхоза — я знаком с первых дней освоения целины. По комсомольской путевке приехал он сюда из Сальских степей. Работал трактористом, помощником бригадира, а сейчас уже несколько лет — бригадиром.

Быков в тот день пахал целину. Он даже не подозревал о нашем разговоре. Да и до него ли ему было? На тракторе случилась

тогда поломка: лопнула головка блока. Штука нелегкая. Одному снимать да ставить ее тяжело. А он все сам сделал за каких-нибудь три часа.

— А вдруг бы сорвалась? — спросил я вечером у него.— Не сдобровать бы тебе.

Он ответил замысловато:

— Как-то у моряка спросили: «Где умер твой отец?» — «В море».— «А дед?» — «Тоже в море».— «Так почему жы ты не боишься моря?» Моряк тоже спросил: «А твой дед где умер?» — «В постели».— «А отец?» — «Тоже в постели».— «Так почему же ты не боишься ложиться в постель?»

— Виктор Гюго? — спросил я.

— Не знаю. Может быть, и Гюго,— улыбнулся Быков.— Волков бояться — в лес не ходить.

О Быкове говорят, что он везучий, что все ему удается, с любым заданием справляется наилучшим образом. Но с этим можно согласиться лишь наполовину. Везучесть и удачливость, пожалуй, надо отбросить. Тут, несомненно, его неустанный труд, настырный характер в лучшем смысле слова. В страдные дни сева, сенокоса, уборки бывает он часто, по его же выражению, «потный от головы до пят», но никогда не случалось, чтобы дал осечку или подвел кого. Строг, но справедлив с подчиненными. Всегда покоряет человека добрым словом, без лишних назиданий, нажимов. В совхозе многие говорят, что характер у него спиридоновский, что Быков, как и Виктор Авдеевич, спокоен и сдержан всегда.

«Ты сам посуди,— говорил он однажды «скоростнику»,— что это за хлебороб, за которым ходить да следить надо, чтобы брака не наделал? Это же гость, а не хозяин на хлебной ниве. Почитал бы ты, как один писатель посмеялся над таким вот: «Митька, заглыбляй, директор едет!»»

Знаком или незнаком был с этим Митькой «скоростник», читал ли вообще Овечкина — неведомо, однако наставление бригадира усваивал прочно, потому что знал: он дороги браку не даст.

Таков в немногих словах первопроходец целины, коммунист Петр Иванович Быков.

Его мы застали на таборе возле гусеничного трактора. Степное солнце коричнево прижгло ему лицо, шею, крепкие узловатые руки. Завидев нас, он поднялся и, отерев о штаны ладони, поздоровался с нами.

— Вот опорный каток ремонтировали. Ведь надо же ему именно теперь разладиться.

Несмотря на то что лицо его было в пыли, мазуте, оно выглядело привлекательным. В крупных коричневых глазах, немного скошенной улыбке светилась простота, доверие к человеку, располагало к откровению. «С ним легко ребятам работать»,— подумал я.

Проскурин постучал ногой по опорному катку, покачал его слегка и, протягивая нам пачку с куревом, сбалагурил:

— Трактор не ишак: не докрутишь гайку — не пойдет никак.

— У Данилыча на каждый случай припас имеется,— разминая папиросу, заметил

Быков и пошел вразвалку к вагончику, приглашая нас в холодок, к самодельному столику на колышках. А молодому чубатому трактористу подал команду:

— Ты там спроворь, Никола, наше целинное шампанское да балычку.

— Ни, ни! — заерзал Данилыч.— Вливаниями заниматься времени нет.

— Да какое там вливание в рабочее время? — добродушно сказал Быков.— Так, баловство словесное.

Действительно, шампанским оказался обыкновенный кумыс, а балычком — вяленый язь.

Быков стал разливать по кружкам золотистый пенный кумыс, черпая его ковшиком из большого металлического термоса, а разделкой язей мы занялись сами. Что за язи! Оторвешь шкуру — жир и засочится, а мясо розовое, мягкое, в пальцах тает.

— Ловим на Нуре на умятые хлебные шарики, сдабриваем их фруктовой эссенцией,— охотно принимается объяснять нам Быков. Ладони его любовно взвешивают затвердевших и широченных, размером с добрую рукавицу, лупоглазых язей.— Прямо с крючка отправляем в таз с ропой. Язи жадно глотают соленую воду и сами себя засаливают в меру. Затем вывешиваем в тени, вялим.

— Муха не обчервивит? — управляясь с рыбой, интересуется Проскурин.

— Для мухи эта штука неприступна,— довольный интересом гостя, возгорается Быков. В глазах его светится готовность дать голову на отсечение, что муха к просоленно-

му насквозь ропой язю нипочем не подступится. Сам язь, в объяснении Быкова, кажется умницей, что так предусмотрительно пропитал себя соленой водой, дабы не позволить мухам обчервивить его.

Проскурин, уплетая жирного язя, приговаривает:

— Вон он какой, язь-то! Догадливый, не язь, а князь!

Я удивляюсь его умению терпеливо выслушивать то, чему он сам не придает и грошового значения. Было совершенно ясно, что к Быкову он преисполнен особого уважения, а другому не постеснялся бы прямо сказать: рыбака слушать — только драгоценное время терять.

Выпив напоследок кружку кумыса, Проскурин утер рукавом губы, положил папиросы на стол, слегка крякнул.

— Язь добрый, однако и кумыс отменный. А ты, Иваныч, не за сено ли наше угощаешь, а?

— С сеном вопрос покончен. Сена я вам накосил такого, что сам бы ел, да деньги нужны.

— Н-да,— прижигая беломорину, буркнул Проскурин.— До денег ты парень бедовый. Ну да это сторона не обидная. Дурак их только, деньги-то, не любит. Думка у меня, Петр Иванович, все из головы не выходит. Значит, язи там язями, штука, конечно, добрая, а я о навозце хочу с тобой потолковать. Земля-то истощаться стала, пора и честь знать, надо подкармливать ее. Опять же загодя, чтобы не поздно было.

Быков, как бы вспоминая что-то, берется за шевелюру, по которой уже промчалась седина.

— Да,— говорит,— помню, лет семь назад появились уже на полях первые всходы. И тут, откуда ни возьмись, взыграл, налетел пыльный буран. Забил нашу двадцать первую клетку пылью начисто. Мать честная! Ходим вдоль клетки с Иваном Пимоновым, он и говорит: «Пропала пшеничка...» А она под слоем пыли пожелтела даже. «Не,— думаю,— это еще бабушка надвое сказала: пыль — это же лучшие крохи плодородного слоя земли — удобрение. Дождик, дождичек бы сюда!..» Вскоре, как по заказу, раздождилось. Что ты думаешь? По двадцать пять центнеров на той клетке с гектара взяли. Колосок с ладонь вымахал. И в каждом — полста зерен. Да каких! С горошину каждое. Вот оно, удобрение.

Становится ясным, у них уже был разговор на эту тему. Ведь минеральных удобрений совхозы пока что получают мало: каждый в пределах не более тысячи тонн в год. Сколько же ими можно подкормить земли, если на гектар надо вносить минимум полтора центнера туков? А посевные площади у нас большие.

— Так что же предлагаешь, Данилыч? — спрашивает Быков.

Проскурин отвечает не сразу. Задумчиво смотрит под ноги, пристукивает кружкой по столику.

— Работы без заботы нет,— начинает он.— Ты вот, как член бюро райкома партии,

поднял бы этот вопрос. Дело нехитрое, но выгодное: нужно вносить на поля навоз.

— Ха, открыл Америку!

— Не хакай, а слушай. Мы уже пробовали. Гектару давали по двадцать тонн и прибавку к урожаю имели три-четыре центнера.

— Это опять же своего рода подшипник на ворота,— не унимается Быков.— Где же взять столько навоза?

— На фермах,— спокойно отвечает Проскурин.— С первых дней начала целины навоз, считай, не вывозится на поля, если не брать во внимание тех шести-семи тысяч тонн, что кукурузе да картошке даем.

Глаза у Быкова блеснули.

— Да, да. У нас его скопилось не менее двухсот тысяч тонн. Правда. Как это я не обращал внимания? Если весь его вывезти на поля, то можно будет удобрить минимум десять тысяч гектаров пашни. Постой, постой! Сколько же это дополнительного хлеба, если по три центнера добавится на гектаре? Три тысячи тонны? Де-е-ла!

— Так как же? — спрашивает Проскурин.— Поставишь вопрос в райкоме?

Но Быков его уже не слушает.

— Так-то оно так,— говорит,— да всяких «но» прорва. Навоз же этот не штабелюется, а разбрасывается как попало. Каждую весну на нем буйно вырастают всевозможные сорняки, цветут, созревают, осыпаются и засоряют навоз семенами. Попробуй вывезти такое удобрение на поле! Горя не оберешься: забьют бурьяны хлеб. Кроме того, навоз не компостируется, перегноя-то и нет.

— Это другой вопрос,— не унимается Проскурин.— Не только сегодня живем?

— Оно-то так,— задумчиво соглашается Быков.— Вопрос о наведении порядка на фермах поставлю.

— Опять же закавыка,— подмигивает Проскурин.— Чем же вывезти всю эту массу навоза на поля?

— Об этом сейчас и думаю. Задал мне задачу, Данилыч. У нас на вывозке навоза под кукурузу сезонно работают четыре «Кировца» с тележками. Суточная норма их — четыреста пятьдесят тонн. С такими темпами далеко не уедешь. Тут нужны не единицы тракторов, а целые отряды плодородия со всей надлежащей техникой. Их пока в нашем районе нет... Тема для разговора в райкоме хорошая.

— А может, подключить сюда районное объединение «Казсельхозтехники»? — спрашивает Проскурин.

— Нет,— отрицательно покачивает головой Быков.— Я так думаю: ведь все совхозы района нуждаются в механизированных отрядах плодородия, а коли сами не в силах справиться с вывозкой навоза, нужно собрать технику в один кулак. В районе одиннадцать совхозов. Если каждый выделит по одному трактору с тележкой, а такие совхозы, как наш или ваш, или взять «Днепропетровский», и по два могут дать, сила получается внушительная. С такой силой можно в короткие сроки удобрить многие тысячи гектаров полей, получить ощутимую прибавку к урожаю...

От Быкова уезжали в полдень. Солнце палило с таким усердием, будто старалось расплавить все живое на земле.

Я, признаться, не люблю такую пору. Мир в эти минуты, простреливаемый лучами сверху, теряет цвет и объем. Предметы перестают быть видимыми во всей их прелестной характерности. Пейзаж бледнеет, становится стеклянным, и глаз устает различать детали. В эти тяжкие минуты зноя с нетерпением ждешь того часа, когда начнет слабеть свинцовый водопад жары, а восточный мутноватый склон неба окрашиваться в бледно-сиреневый цвет. Каждая травинка, каждый листок заживет тогда своей заметной жизнью, лаская, радуя глаз.

У Проскурина в эти минуты был замкнутый вид. Руки его машинально покручивали руль, а мысль, чувствовалось, была где-то по другую сторону нашего пути. Мне не хотелось отрывать его от раздумий. Тем более что под этот монотонный рокот мотора, под однообразное мелькание пейзажа самому хотелось поразмыслить.

Постоянно испытывая на себе заботы по воспитанию детей, я видел теперь себя в каком-то новом качестве. И это уже не в первый раз. Всегда, когда обстоятельства переносили меня из школы на сенокос, как вот сейчас, или на хлебное поле, я не только внутренне не сопротивлялся тому, а, наоборот, с охотой брался за новые для меня дела. При этом каждый раз говорил себе: «Помогать человеку, создающему своими руками материальные блага,— значит находиться на

передовой». Поэтому, попав в сложный водоворот нелегких дел и забот, с головой погружался в них, начинал жить непривычной, но интересной жизнью, будто жил ею всегда.

Может быть, потому мне все понятнее, ближе становились неугомонные Проскурин, Быков, Троценко и многие другие одержимые труженики на хлебной целине. Проскурин говорил мне: «Понимаешь ли, какое наслаждение увидеть добрую хлебную ниву! Вот ты прикидываешь, заботишься, вкладываешь труд, но это все пока темная игра, особенно когда только еще хлеб посеял. А потом вдруг показался колос. Душа твоя наливается радостью, весь ты напряженный и довольный, что половину великого дела одолел. Ходишь, колосок этот поглаживаешь, как родное дитя. Так ты ему благодарен, такой он для тебя осмысленный, живой, будто человек».— «Но ты же сказал, что это только половина дела. А вторая половина?» — «Тут, брат, есть одна межа. Приходит время, что и радоваться перестаешь, особенно когда колосок за нормочку начинает переваливать. Тогда разговоры с ним любовные вести перестаешь. По новому кругу забот бегать начинаешь. И бегаешь до тех пор, пока на ниве только стерня останется. Тут уж, скажу тебе, лирика кончается, хлебушек-то — дело экономическое, подсчеты да присмотры. Пошли тонны, рубли. Но это — уже другое дело. О новом круговороте заботушка пошла: зябь, ремонт техники, очистка семян...»

Такие вот мысли поверял мне частенько Данилыч, и все на ходу, смотря на пыльную

дорогу, мечтательно, раздумчиво, не спеша. А я слушал да приходил к убеждению, что хлебороб он заразительный. Какое возвышенное понимание такому на первый взгляд простому занятию придать может!

— Этот не подведет,— неожиданно сказал Проскурин.— Парень самовозгораемый.

— О Быкове говоришь? — спросил я.

— О нем. Вот ведь какое простое дело, а понял-то меня только Быков. Ходим мимо того же перегноя, а не видим. А он прямо-таки на дороге, простыми руками и бери. Ведь это же какая махина дополнительного хлеба! Быков в скорости этот вопрос в райкоме ребром поставит.

— Думаешь, всерьез он все это?

— Что ты! Да ему только подай стоящую мысль, он часами спать не будет. Всем головы закрутит, заставит подумать как следует. Он только так: с живого, дескать, не слезу. Таков Быков. Форменный бык и есть,— засмеялся Проскурин.

Теперь уже и я, увлеченный идеей, не мог отделаться от мысли, что действительно бессмысленно проходить мимо подспорья для хлеба, мимо этого резерва. Проскурин начинал расчеты с быковских бригадных семивосьми тысяч тонн пшеницы, получаемых на его полях ежегодно, а мне не составляло труда делить тонны перегноя на гектары, дополнительные сборы зерна возводить в масштабы всего района. Получалось довольно заманчиво. И я уже думал: как бы помочь этим людям полегче одержать победу?

IV

Встречи на покосах

В урочище Таболгасай, на свой сенокос, мы добрались после полудня. Кругом, насколько охватывал глаз, простирались скошенные луга. В иных местах ровными рядами, словно игрушечные кубики, пунктирными строчками разбежались по гладкой степи тюки сена. А вокруг звенит сенокосная разноголосая жизнь, с задорной песней, соленым словцом да со звоном, стуком машин.

В широком распадке между кряжистых сопок слышатся стрекот косилок, натужное урчание моторов. Воздух густ и горяч. У тонкого лезвия горизонта пляшут ажурные миражи. Там виднеется работающий пресс-подборщик. Проскурин направляет машину к нему. Едет прямо по степи среди уложенных, словно по струнке, тюков сена.

— Витька Фадеев прессует,— говорит мне.— Видишь, как техника у него хорошо отлажена? Умелец!

Мы подъезжаем к пресс-подборщику. Агрегат плавно идет по валку, и зеленая масса сена, словно лента, поступает в приемную камеру. Мерно щелкает автомат, вязальная проволока обвивает тюк, и он скатывается на землю. Десять-пятнадцать метров — новый тюк.

Здесь, в долине реки Эспе, травостой хороший. На глаз можно определить, что с гектара выходит не менее трех центнеров сена.

Фадеев останавливает пресс-подборщик, подходит к нам, здоровается.

— Коробка сенопресса забарахлила,— говорит,— а то к вечеру полторы тысячи гектаров выдал бы «на-гора». Вот,— протягивает он Проскурину сломанную шестерню.— Взамен старенькую поставил, но ненадежная.

— Да,— берет Проскурин шестерню,— такую трудно найти, но у меня одна новая «завалялась». Возьми в летучке на верстаке.

Таких «завалявшихся» шестерен я видел в самом нижнем выдвижном ящике верстака не менее пяти штук. Хотел было сказать об этом Проскурину, но он уже снова заговорил с Фадеевым:

— Тебе иглы вязального аппарата нужны? Завтра мне выпишут немного в спецмаге.

— Да, не мешало бы с десяток,— ответил Фадеев.

— Больше заказывай: ломаются часто.

— Можно и больше,— улыбнулся Фадеев,— чтоб потом говорить: «Одна завалялась тут у меня».

— Ладно, ладно,— тоже заулыбался Проскурин,— у тебя не заваляется.

Когда мы поехали к полевому стану косарей, я намекнул о «завалявшихся» деталях и спросил: хорошо ли, когда запасные части лежат в дальнем ящике верстака, а потом выдаются по одной механизаторам?

— Дальше положишь — ближе возьмешь,— ответил он.— Это ты и сам знаешь. А некоторых деталей иногда не хватает, надо беречь. Но не всякий понимает это, счита-

ет, что бездонно богаты мы, не к чему, мол, беречь. А богатство — оно ведь складывается и из этой бережливости.

Он направляет машину с покосов на проселочную дорогу, откидывается всем телом на спинку сиденья, умолкает, прищурив глаза.

В воздухе стоит запах млеющих покосов, но уже почти невозможно узнать, какого сорта полегла тут несдюжившая степная рать трав.

Полевой стан косарей открылся с невысокой сопочки, и вскоре мы к нему подъехали.

— Здравствуйте! Хорошо, что приехали,— подходит к нашей летучке шофер Серик Жунусов.— Мы тут с этим мотором замучились,— обращается он к Проскурину.— С капиталки его привезли, а он греется, как самовар. Галка Коровкина замаялась с ним. Уже и разбирали и собирали его — толку нет.

Он безнадежно махнул рукой.

— Что с ним случилось? Зажигание переставляли, радиатор промывали, водяную рубашку в блоке промывали и помпу разбирали — толку нет. В чем дело?

Он с надеждой посмотрел на Проскурина.

— Что за мотор? — не глядя на Серика и копаясь в кабине под сиденьем, осведомился Проскурин.

— «Уралец»!

— А ремонтировали где?

— В Атбасаре.

— Ну, тогда ясно: любую козу могут подстроить. Где же Галка теперь?

— Да вон она,— показал в степь Серик.— Ей двух парней городских дали, вот они и охлаждают из ведер двигатель.

— Лучше не придумаешь,— сказал Проскурин.— Сена навозят на грош, а зарплату рублями плати. Зови сюда Галку, посмотрим, что за причина.

Серик пошел к своему «газику» и поехал в ту сторону, где на покошенных лугах редкими точками виднелись машины. Издали они напоминали медлительных мурашей. Не верилось, что бескрайняя степь теперь уступала столь незначительной, букашечной силе.

Приехал верхом на лошади завхоз отделения Ками Кадыров.

— Аман,— поздоровался он со всеми, не слезая с седла.— Прям хоть бери и останавливай солнце: косим быстро, а скирдовать не успеваем.

Проскурин весело глянул на меня:

— Вот и напиши в «боевом листке» статейку: «Как остановить солнце?»

Ками слез с лошади, подошел к нам, а лошадь пустил на покос. Она не торопясь отошла в сторону и стала щипать траву. Я давно знаю эту низкорослую мухортую лошадку, очень ее люблю. Шерсть у нее на брюхе длинная, а на спине — в плешинах, потому что эта лошадь ездовая. Мне часто кажется, что она и родилась с седлом на спине. Она всегда терпеливо ждет своего хозяина, то ли в степи, как вот сейчас, то ли дома, у коновязи. Хозяин выходит к ней, а хозяйка его, провожая, всегда задает один и тот же вопрос: «Кайда барасен?» («Куда по-

едешь?») И муж всегда отвечает ей одно и то же: «Джай барамен» («Так поеду»). Тут не главное понять все до конца, тут главное — обычай соблюсти.

Хозяин ловко вскакивает в седло, говорит одними губами «чух-х», но никогда не берет в руки поводья. Кажется, что лошадь сама знает, куда везти своего хозяина, с какой скоростью. Зимой она возит его в санях, зашнурованная ремнями да веревками от головы до хвоста. Часто стоит на улице возле штакетника, и я, проходя мимо, останавливаюсь, слушаю, как хрустит она сеном. Чудится, что на зубах у нее крошится сухой цельный горох.

— Сегодня пустили два пресса,— говорит Ками, прищуриваясь.— Две тыщи тюков дадут. Крепко работают ребята, аж ветер гудит. То мы прессовали в сутки шестьсот-семьсот тюков, теперь почти вдвое больше будет. Рано стали выезжать в степь, поздно шабашить.

Спрашиваю у Ками, правда ли то, что себестоимость центнера сена у них очень низкая.

— Ну конечно,— отвечает он.— С гектара берем много, затрат мало: в заливных саях научились косить. У нас теперь по минутам все расписано. Жару даем!..

Из степи донесся шум мотора: к табору шли две машины.

— Что там с этим «уральцем»? — спросил Проскурин у Ками.

— Я почем знаю? Я по лошадям знаю,— кивнул он в сторону мухортой лошадки,

которая, не отходя от табора, паслась кругами поблизости.

Машины подъехали к табору, остановились у цистерны с водой.

Галка Коровкина, с густой русой косой, статная, в синем комбинезоне, вышла из кабины и направилась к нам, а ее «водоснабженцы» — два парня кряжи кряжами — остались стоять в кузове. Один белявый, коротко остриженный, а другой темноволосый, косматый, хмурого вида. Проскурин, шагнув навстречу Коровкиной, участливо спросил:

— Ну как там у тебя, Галя?

— Греется, Михаил Данилыч, чтоб ему ни дна ни покрышки,— с досадой ответила она и, уперев руки в бока, повернулась к машине.

Заметно стало, что хлебнула горюшка до соленой слезы, да при Проскурине, видно, слезу пустить стыдилась.

— Ну чего стоите, зенки лупите?! — крикнула на тех двоих парней, что стояли в кузове.— Слезайте, хоть айрану попейте.

Понимая, что Галку сейчас пожалеть надо, Проскурин тихо-мирно заговорил:

— Ну, греется — это не так уж плохо: с пару кости не ломит. Бывает, что перемерзает, а это похужее будет. Давай-ка посмотрим.

— Да уже смотрели-пересматривали от хвоста до самой гривы. Все зубы пересчитали. Конь как конь.

— А получается, что не работа, а одна вонь,— не преминул добавить Проскурин.

— Вот уж верно,— добрея, согласилась Коровкина.

— Не горюй, невеста,— подойдя к машине и начав ее исследование, бурчал Проскурин.— Не может быть того, чтобы машина хитрее человека оказалась. Человек же ее сотворил!

— Вот то-то и оно, что человек, Михаил Данилыч. Тут в жиклерах чего не произошло ли? Обедненная смесь, может?

— «В жиклерах, в жиклерах»... В жиклерах, дорогая, такого не случается. Заводи-ка двигатель.

— А ну-ка, добры молодцы! — крикнула Галка парням.— Водицы сюда студеной побыстрей.

Она уже обрела надежду, ибо верила Проскурину безгранично, а он, заговорщически подмигнув ей, сказал:

— Давай тормоши их, рысачков орловских!

Парни, однако, уже наловчились и знали дело отлично. А Проскурин подшучивал, чтоб выходило все повеселее:

— Давайте сюда пожарную машину, охлаждать мотор будем!

— Не чудите, Михаил Данилыч,— уже сквозь смех заметила Галка.— Чтобы делу не во вред было. Я от горя обсохла, а с вами, дядя Миша, хоть на амбразуру пойду.

— Погоди ходить на амбразуру-то. В сельском хозяйстве без красивых девчат урожаи снижаются. Мы тебе еще такого муромца сыщем... Подсос-то зачем? Так. От пара ничего не вижу. Ну-ка водички сюда!..

Парни окатывали радиатор водой. Наконец засвиристел стартер, мотор завелся. Проскурин стоял, облокотившись на крыло, внимательно слушал. Лицо его казалось отрешенным теперь от всего живого мира, окаменелым.

— Ничего понять не могу,— сказал он с досадой.— Ритм нормальный, выхлоп четкий. Масляный насос снимала?

— Да,— погрустнев, ответила Галка.

— А ставила как?

— Правильно. И Серик смотрел, и бригадир.

— Не пойму,— покачал головой Проскурин, отирая лицо и шею рукавом.— Мотор разбирала?

— Уже два раза, до косточки.

— А распредшестерню с меткой совместила?

— Да, да,— повысила голос Галка.

— Не кипи,— спокойно сказал ей Проскурин.— Вентилятору и без того нагрузка теперь...

Он не договорил и, будто вспомнив о чем-то самом важном, пошел к лобовой части, к радиатору. Там он постоял, подержал ладонь на весу и, посмотрев на всех, приказал вдруг решительно:

— Глуши мотор!

— Выключать? — растерянно переспросила Галка.

— Глуши, пойдем поговорим.

— Эх, Михал Данилыч, Михал Данилыч,— вздохнув, с каким-то тяжким упреком протянула Галка.— А я-то думала...

— «Думала, думала»... Индюк думал, да издох,— вытирая ветошью руки, сказал Проскурин.— Помню, как-то по весне отец во дворе телегу собирал. Не то удивительно, что задние колеса наперед поставил, а то, что, когда со двора стали съезжать, мне говорит: «Миша, мы ведь лошадь не с той стороны запрягли». Ну, пойдем же, Галя, потолкуем.

О чем они там, на лужайке, толковали — никому не известно, а видели только, как бежала к своей злосчастной машине Галка. Запрыгнув в кабину, завела мотор и укатила в степь.

С улыбкой Проскурин смотрел вслед поспешавшей в степь машине, покачал головой:

— Распалилась!..

Когда в сизоватом полдневном мареве машина замаячила майским хрущом, Проскурин тронул меня за рукав:

— Молодчина. Малость только взбалмошная. С годами остепенится.

— Да какая уж там молодчина? — имея свой расчет, пытался я возразить Проскурину.— В моторе-то запуталась!

— Так ведь они, ремонтнички, любого с толку собьют. Ведь надо умудриться вентилятор обратной стороной поставить! Отсасывал от радиатора тепло кое-как.

— Может, Галка сама так поставила вентилятор, ведь разбирала же двигатель?

Пошаркав подошвами, как это он часто делает перед дорогой, Данилыч привычно юркнул в кабину.

— Сама не могла: головки болтов ключом не тронуты.

— Может, для назидания другим пропечатать об этом случае? — спросил я с напускной значительностью.

— Нет,— замотал головой Проскурин,— тут деликатность надо иметь. Девушка видная. Зубоскал на оселке такое оттачивать любит. А Галка, она о себе правильную гордость имеет. Кто-то напутлял, а она отвечай, а?

Из степи в ту пору возвратилась Галка, лихо затормозила у табора и весело закричала:

— Шабаш! Помощники мне не нужны. Мотор не греется больше. Даю вам, мальчики, полный расчет, потому что сеном загружаться буду от стогометателя.

Парни, ее бывшие помощники, помрачнели: то ли оттого, что не хотелось расставаться с привычным делом, то ли — с Галкой...

Мы уже совсем было собрались на покос к косарям, как увидели в степи едущий сюда колесный трактор с тележкой. Он на минуту утонул в неглубокой балочке, но тут же вынырнул на бугорке и, подойдя к табору, остановился недалеко от вагончика. На землю соскочил рослый, русокудрый парень в ковбойке «шашечка-клеточка», в синих парусиновых брюках.

— Лунев приехал,— выходя из кабины, сказал Проскурин и поздоровался с ним издали: — Привет, Саша! Как там косовица идет?

— Нормально, Михаил Данилыч. Я вот плуги привез.

— Какие плуги? — присаживаясь в тени летучки на траву, спросил Проскурин.

— Наши. Их Лешка-бригадир из Кирейского совхоза брал и бросил в степи.

— С Лешкой такое случается,— ответил Проскурин.— Он безоглядный.

Лунев приехал в Калининский совхоз по комсомольской путевке из Спасского-Лутовинова — бывшего родового поместья И. С. Тургенева. В неоднократных беседах со мной рассказывал о родных местах, о своем детстве. Вспоминается ему, как зимой над их селом торжественно замирал короткий день и вечер обволакивал сумерками заснеженные плетни, сучья деревьев. Где-то дискантом скрипела от мороза дверь, тихо звякала колодезная цепь на журавле, из-за леса спешила багровая луна.

И еще запомнилась летняя роща, где под сенью дремавших берез на стареньком зипуне сидел его дед с душистым липовым лаптем в руках, превращая мягкие лыка в замысловатое плетенье.

Эти картины безмятежного детства запечатлелись в его памяти на всю жизнь.

В Луневе так и видится мне тургеневский Калиныч, так и слышится в напевной его речи тот лирико-драматический тенор Якова Турка, что пел раздольную нашу русскую песню «Не одна-то во поле дороженька...».

Более полутора десятков лет прошло уже с тех пор, как впервые неуверенно повел Лунев свой трактор по целинной ниве. Проску-

рин тогда ему сказал: «Не робей, парень! Машина тебя послушается, только люби, жалей ее...» И машина — разве только одна! — действительно послушалась Лунева. Сейчас он передовик социалистического соревнования, знатный механизатор целинного края, кавалер ордена Ленина, многих медалей. В совхозе с радостью о нем говорят: «Вполне заслужил человек высоких наград. Техника у него, хоть трактор возьми, хоть комбайн, отлажена, настроена, как у музыканта скрипка. Да и работает на ниве, будто исполняет задушевную мелодию на той же скрипке. Сросся человек умом и сердцем с просторной целинной нивой».

Как-то я спросил у него: отчего, мол, не едешь в родные края?

Он ответил мне так:

— Люблю родные края. Но целинную ширь с синью, с далью полюбил, кажется, сильнее. Тут для меня, к примеру, жизнь емче, простору больше. Тут себя шире чувствую, размахнуться есть где. Да и рыбалка здесь интересная, охота богатая, просто передать не могу словами...

Есть в сельском хозяйстве особая, чарующая сила, состоящая, по-моему, в непосредственном сближении человека с природой. Кто обостренно чувствует прекрасное в природе, тот по-особому творит на земле. В течение довольно долгого времени я очень близко общаюсь с земледельцами и пришел к выводу: способность человека к одухотворению животного или растения делает сель-

ского труженика добросовестным в любом, самом, казалось бы, незначительном, деле. Наблюдения за такими хлеборобами, как Проскурин, Звягинцев, Быков, Троценко, Лунев, и многими другими еще раз довольно крепко убедили меня в этом.

Как внимательный учитель, как добрая, любящая мать стремятся проникнуть в душу ребенка, понять его духовные, физические запросы, так и земледелец, заботясь о матери-земле, старается угадать малейшее ее желание, сделать все возможное, чтобы она была краше. Иначе в земледелии нельзя. Если будешь работать с прохладцей, без творчества, неусыпного глаза, надеясь на одни лишь блага природы, многого не добьешься. Эту простую истину знали с незапамятных времен, потому что тогда хлеб-батюшка тоже был всему голова.

Еще древнегреческий поэт Агафий сочинил притчу о хлебе, которая, на мой взгляд, современна до сих пор. В ней с веселым крестьянским юмором рассказывается о том, как некий земледелец, засеяв поле, пошел к провидцу узнать, щедра ли будет жатва. Вот что тот ответил ему:

— Если пашня твоя увлажнится дождем благодатным,
И не скуют холода твою пашню,
И градом не будут сбиты колосья —
Они тянутся кверху уже,—
Если посев не потопчет лошак
И беда не нагрянет с неба или с земли,
Поле твое погубив,
Я предрекаю тебе превосходную жатву; удачно
Ты снимешь тогда,
Лишь саранчи берегись.

От этих стихий не застрахованы и современные хлеборобы. Хотя люди располагают ныне могучей техникой, все же они должны быть постоянно готовыми к встрече со всеми этими коварными силами природы, решительно вступать с ними в борьбу, побеждать.

Все это начинало волновать меня, потому что, восхищаясь Проскуриным и его товарищами, все чаще возникал вопрос: «А что, если мне попробовать?» Я понимал, что попробовать — это не значит стать навсегда хлеборобом, но желание испытать себя в деле, которое столь важно, велико и почетно, все более преследовало меня. Я наконец решился просить Проскурина взять меня в помощники.

— На комбайн? — переспросил он, и на лице его отразилось недоумение, смешанное с недоверием.

С полминуты он раздумывал.

— Пыльное дело,— с усмешкой наконец сказал он.

Но мне стало понятно, что не в одной пыльности дело.

— Не на одном уровне стоим, брат,— продолжал он.— Я мужик канительный, говорят. Может, и верно говорят. При деле для меня что простой рабочий, что спец какой. Ты меня чуток понял?— И лукаво улыбнулся.

Механизаторы в совхозе к Проскурину относятся по-разному: одни, постигая его в труде, говорят, что он доброхот, спец первой руки. Другие не возражают, но добавляют: «Спец-то он спец, но придира такой, какого

свет не видывал». Кто-то назвал его еще и кугутом. Слова этого ни в каком словаре не сыщешь, но, судя по практическому применению, это вроде петуха задиристого. Да и то сказать: кто их, эти речения, в народе по словарям разыскивает? Бывает, слово невесть из какого лексикона объявится и весомо встанет на положенное место, придется всем как нельзя кстати. И уж не проверяется. Главное, что ярко, метко. Разбирай, поди, что оно в точности означает. А на целине у нас полное интернациональное братство, попробуй теперь дознаться, кто же все-таки назвал Проскурина кугутом.

Когда в совхозе узнали, что я твердо решил пойти к Проскурину помощником на комбайн,— сам Проскурин этого, правда, еще не знал,— некоторые, посмеиваясь надо мной, говорили:

— Согласился к нему? Он тебе покажет, где раки зимуют, на третий день сбежишь. Не такие драпали.

Я пришел на машинный двор, когда, уморенный зноем, дотлевал июльский день, но было еще жарко. У длинного, полураздетого с боков сарая стоял грузовик. Белокурый шофер в рубашке навыпуск крутился у машины с тряпкой, плоскогубцами в руках. Узнав, зачем я здесь, выплюнул заслюненную погасшую папироску, прошептал:

— В кузове он. Барахолку разбирает... Сейчас выгружать начнет.

Не очень возвышаясь над кабиной, из кузова показалась знакомая сухощавая фигура Проскурина. Осторожно держа в тряпке что-

то, по-видимому ценное, как держат хрусталь, он приветливо кивнул мне.

— Я к тебе, Данилыч,— приняв из его рук и положив на тощую траву увесистый узел, должно быть с болтами и гайками, сказал я.

Не ответив, он сбросил на землю что-то похожее на лемеха, не спеша спустился ко мне, протянул небольшую, но прочную ладонь. С некрупного, угловатого лица смотрели такие знакомые мне серые доверчивые глаза, на подбородке висели крупные капли пота.

— Вот,— чуть извинительно сказал он, махнув рукой на железки,— без призора на дороге. Не могу, понимаешь, чтобы валялись: человеком сделаны.

Он снял старую, испятнанную мазутом кепку, обтер локтем потный околыш:

— На меня же удивляются: скряжничаю вроде.

Я стоял, не зная, с чего начать свой главный разговор, а Проскурин, видимо заметив это, спросил:

— Не в помощники ли пришел?

— Да,— ответил я,— решился все-таки.

Он перемялся с ноги на ногу, вскинул на голову бесформенную кепку, стал осматривать меня с головы до ног, без стеснения, как присматриваются к сомнительному товару на базаре.

А мне стало вдруг как-то неловко оттого, что я в чистой одежде, с белыми, неперепачканными руками.

— Ну, я поехал,— сказал шофер.

— Давай, Вася,— ответил Проскурин.— В кузове порядок навел бы. Черт ногу сломает.

Проскурин достал огромный носовой платок и, вытирая лицо, шею, окинул небо от горизонта до самого зенита. Лицо его было добродушно-довольное. Облегченно вздохнув, он приготовился что-то сказать мне, но тут из-за сарая выбежал паренек и, не переводя дух, спросил:

— Михаил Данилыч, тот вторичный вал от коробки, что я в прошлом году выбросил, не помнишь, куда убрал?

— Тем бы валом да тебя по одному месту,— сказал Проскурин с глубоким, но незлым упреком. Показалось: отделай его он и впрямь этой штукой, не обидится.— Все бросаете, ничего вам не нужно! А теперь прискакал, значит. Понадобился вал?

— Да ведь...

— Ладно, ладно,—сказал Данилыч.—Вон он, под застрехой сарая, твой вал.

— Спасибо, дядь Миша,— выпалил парень, убегая.

— Зол на них, супротивных, а жалко,— оправдывался Проскурин.— Душа у них нараспашку, все летит без задержки: гайки, болты, иной раз — покрупнее детали...— Он поднял ладонь, растопырил пальцы:— Фу! — и нет ничего. Смотреть да смотреть за ними надо!..

Здесь, на машинном дворе, я встретил уже не того Проскурина, с которым объездил недавно чуть ли не все совхозные луга и в голосе которого часто слышалась снисходитель-

но-добродушная нотка, а совершенно другого — главного механика всех этих хлебоуборочных машин, что стояли тут. Строгого, расчетливого хозяина.

А он подобрал железки, отнес в укромный уголок, вернулся, потирая натруженные ладони.

— Значит, все-таки в помощники, говоришь? — начал Проскурин.— Я ведь говорил тебе: со мною работать трудно. Верхоглядства не люблю. Кое-как чтобы, тоже не люблю. Хлеб этого не терпит...

Уставившись в землю, он будто проникал взглядом в ее глубину, доставая оттуда крепкие, угловатые, как гранитные глыбы, слова.

— Хлеб — результат тяжелого труда. В нем и забота, и сила, и радость. Он, когда растет, сам ведь ты видел, будто дитя малое, а вырастет — богатырь.

Проскурин обернулся, пристально посмотрел мне в глаза:

— Ни одна профессия вровень не встанет. Вот ведь какой он, хлеб!

Снова вытер платком лицо, потную шею.

— Ну вот,— облегченно вздохнул он,— это тебе взамен хлеборобского сельхозминимума. Комбайн мой не проверенный да не собранный еще стоит, говорил уже тебе. Завтра пораньше приходи, а теперь уж, поди, отдыхать пора...

V Спец первой руки

С утра я взялся за работу. Она была немудреная, но нелегкая. Поручил он мне дело пустячное, даже обидное: обмывать комбайн сверху донизу. «Кто же очищает кочережку от сажи,— досадно подумал я,— ведь в пыль же поедем!»

По временам Данилыч отрывался от работы, внимательно всматривался в лоснящуюся обшивку комбайна. К концу дня он водил меня вокруг машины, показывая тонкие, как след карандаша, коварные трещинки. Поцарапает пальцем, обернется.

— Вот, брат, где собака зарыта! Больную конягу в телегу не впрягают. Все это заварить надо.

Опять мне виделся другой Проскурин: мастер.

На другой день крепили мы соломокопнитель. Болтов там — уйма. Сначала закручивали вдвоем, но скоро Данилыч куда-то отлучился. Я взялся за дело с таким огнем, что в кровь побил все пальцы, зато к приходу Проскурина успел закрепить все болты.

Данилыч появился неожиданно. Я услышал его по ту сторону комбайна. Он сокрушенно цокал языком, бурча недовольно.

— Раскручивай, дорогой. Не пойдет такое.

Не умея скрыть обиды, я недобро посмотрел в его серые улыбчивые глаза. «Вот тебе

и придира, вот он и кугут перед лицом!» — пронеслось в моей голове.

А он подошел и как можно добрее сказал:

— Ты повернись-ка! Все по делу велю. Все правильно. Болт, запомни,— коварная штука. За ним нужен неусыпный надзор. Вот он, голубчик, стоит вроде. Головка маячит. Комбайн едет, дрожит. Глядишь — нет болта. А там — другого, третьего, потом копнитель упал. Понял?

Я ничего не понимал.

— А потому что гайка не видна тебе. Она там давно уже ослабла, на самом кончике мотается, а ты этого не видишь. Вот разверни болт гайкой налицо, чтобы тебе видна была ее слабина. Понял теперь?

«Боже! — подумал я.— Как же я сам-то не догадался?» — но вслух сказал: — А другие как? Им бы эту премудрость преподать.

— Преподавал. Иные взяли в толк, а другие сами, говорят, с усами, а болты теряют. И не только болты...

Так я начал понимать его как «спеца первой руки». И потому всякое зарождавшееся во мне порой несогласие с ним становилось все более неуверенным, шатким.

А он помолчал, пострелял папиросным дымком, снова заговорил:

— Знаю, кое-кому это в тягость. Вот и сбегают от меня помощники, но ведь дела требую, порядка, а порядок — это сплошная цепочка. Через всю степь и дальше,— закончил он, подтягивая последнюю гайку.— Теперь они, голубушки, все на виду,— ударив по гайке ключом, улыбнулся он.

Вскоре понял я, что не задирист он, не строптив. Доверие к человеку у него всегда наготове, только заслужи, покажись деловой, честной стороной.

— С душой дело сделаешь — лишний год на земле проживешь,— любит повторять он.

Не потому ли шесть десятков лет, прожитых им, проглядывают в нем скорее опытом, мудростью, нежели старостью. Складки и морщинки хоть взбороздили лицо, но нагнется, под машину юркнет и поднимается без старческого кряхта, без одышки. Молодой, да и только! Стариковская дряхлость, видимо, побаивается таких, уступает им дорогу. Значит, верно в народе говорят, что, чем больше ты отдаешь, тем больше у тебя остается.

Ремонтируя сейчас комбайн, промывая, перебирая почти каждую деталь, я понял, что жизненная сила Проскурина заключается в радости труда, это его тот самый главный долговечный корень жизни.

Поэтому и комбайн никогда не подводит его, любовно и тщательно подготовлен к уборочной страде. Проскурин сам как-то мне признался:

— Прочный комбайн — сила моя и горе мое.

— Почему же горе?

— Потому что в уборку не дает покоя ни днем ни ночью,— рассмеялся он,— все идет и идет.

Наконец мы одолели комбайн. Он стоял теперь прочный, застегнутый на все ремни-пряжки, смазанный, умытый, как перед ве-

ликим праздником. Проскурин в последний раз осмотрел свое любимое детище, опробовал двигатель на всех оборотах, облегченно вздохнул:

— Ладно. Одно дело с плеч — пойдем дальше.

На очереди были жатка и подборщик. Но они меня меньше страшили, агрегаты новые — только с завода. Я сказал об этом Проскурину.

— В том-то и беда, что новые,— невесело отозвался он.— Да еще июльские, дорогой ты мой. Неси-ка сумку с ключами.

Знакомство с новой техникой произошло весьма своеобразно. Проскурин размашисто проводил ручкой отвертки по всем неровностям подборщика, а под рукой все дребезжало, шаталось. Во многих местах не хватало того, что должно было быть.

Я смотрел на все это с удивлением и выглядел, по-видимому, наивно, потому что даже Проскурин, забыв о негодовании, посмеивался надо мной.

— Это, Василич, не ново. Жатка ведь июльская, предуборочная. В самый жар ее делали.

Он пытался шутить, но шутки выходили горьковатыми. А техника все бренчала, будто умоляя Проскурина не гневаться на нее.

Я подумал, что на все предстоящие дела моей силы не хватит, а Проскурин, казалось, именно теперь решил испытать меня до конца. Я чувствовал, что вот-вот не выдержу такого накала, и только на кончике языка держались слова: «Не могу...» Но я еще на

что-то надеялся. Авось не станет здесь-то Проскурин с такой дотошностью приглядываться к каждому болту, переставлять его по-своему. Но многие болты — я и сам видел это — стояли «неправильно»...

Вечером мы парились в бане. Данилыч наддал столько пару, что я не выдержал, сбежал в предбанник.

— Вот так вы, други мои,— засмеялся он.— Чуть пожарче станет, так и сбегаете. А я привык коль уж работать, то до победы, а уж если париться—так напропалую. И стало ясно: пословицу о грузде и кузовке он очень уважает.

Все-таки довели мы жатку и подборщик до «кондиции». Михаил Данилович с просветлевшей душой частенько устремлял взгляд в бескрайние дали, как великий стратег, намечал главные цели.

— Вон за той пологой пуповиной — изначальная схватка.

Я понимал, как болел он душой за такой могучий хлеб. Казалось, дай ему беспредельной силы комбайн — пострижет всю хлебную ниву до единого колоска.

— Да ты не думай, что я такой жадный,— оправдывался он, видимо подметив в моих глазах лукавинку.— Совсем не то. Ты вот брось в землю одно зерно — поймешь смысл дела. А тут ведь большое старание многих людей вложено. Тут силища хлебная, хочется ее всю убрать.

Он помолчал, глядя в необъятную даль, затем сказал просто:

— И уберем!..

Наступили дни уборки хлеба. Крепко схваченный объятиями предуборочных дел и забот, я был преисполнен постоянным чувством ответственности, как коренной хлебороб. Неустанная непоседливость Проскурина, его озабоченность в большом и малом уже не рождали во мне удивления. Я вполне понимал его, верил ему, старался помочь во всем. Но иногда действия моего учителя казались мне настолько необычными, что я не выдерживал. Так случилось и на сей раз.

— Надо получить матрацы,— сказал мне Данилыч.— Завтра выезжаем в поле.

— Зачем они нам? — удивился я.— Спать-то на полевом стане будем. В случае чего в бункере на соломе можно. Бункер, пока косить будем, пустой у нас.

— На стане, если удастся, поспим, а бункер...— Он показал на кучу разного хлама, лежащего неподалеку.— Куда это денешь?

Я стоял ошарашенный, не зная, что сказать. В куче были всякие запчасти, от мелких до самых крупных. Из них можно было собрать по меньшей мере еще один комбайн. Был тут даже запасной бачок с питьевой водой, который наверняка уж нам не потребуется: наш ведь новый, не прохудится за тысячу дней.

Мое удивление Данилыч перечеркнул лаконичной, непробиваемой фразой:

— Иди, иди, потом все поймешь.

Дело было под вечер, и, пока я нашел завхоза да получил у него два комплекта постельных принадлежностей, солнце уже заметно осело к горизонту. Возвратясь на ма-

шинный двор, я застал возле нашего комбайна человек пять молодых механизаторов, которые сидели, пристроившись кто где мог, и расспрашивали у Проскурина о наиболее частых поломках при косовице хлебов на свал.

— А кто их предугадает, эти поломки? — отвечал Проскурин.— Сегменты вкривь да вкось стоять будут — нож порвется. Цепь на мотовиле недосмотришь, ослабнет — тоже порвется. Да что гадать? Мало ли вас гоняю, когда сдаете сюда комбайны после ремонта? Вот тут, на машинном дворе, вникни в каждый узел, чтобы знал, где у тебя толсто, а где тонко.

Я спросил у Проскурина:

— Куда с этими постелями теперь?

— Да положи до утра в бункер.

— А если кто возьмет?

— У меня не возьмет. Ничего еще никто не брал,— с горделивой ноткой в голосе сказал он.

— Данилыч, а вдруг останешься без матраца, как тот дед Бородай без сапог? — спросил Лешка Данилов, комбайнер.

— Какой Бородай? — отмахнулся от комаров Проскурин. Глаза его насторожились, сузились.

— Бородая не знаешь? Да бывший конюх райкомхозовский.

— Помню, конечно. Да только уж больно мудрено говоришь: человек живет в достатке, без доброй обуви я его не видел.

Данилов от души хохотнул, вскинув чернявую голову.

— Ну, значит, не знаешь. А было так. Сам же Бородай рассказывал. Да вот он участник,— кивнул в мою сторону Данилов.— Расскажи-ка, Василич, как все это тогда случилось.

Мне, признаться, изрядно уже наскучила эта история. Досужая фантазия бесконечных пересказчиков с легкой руки старика Бородая наломала тут такого валежника, что сам же Бородай потом слушал эту историю как постороннюю — так все было раздуто.

Получилось же все это, вообще говоря, довольно интересно. Не надо бы тут сгущать красок. Но такова уж манера старика Бородая: на каждый четырехэтажный дом добавлять хотя бы пару этажей. И все же как ни верти, а в устах его всякое повествование обретает особую неповторимость, колорит, сочность. Это уж, говорят, божий дар. Поэтому попробую пересказать события так, как виделись они Бородаю. Ну, а к некоторым издержкам запальчивого его воображения обещаю вносить уточнения.

Зимним морозным днем — шел уже пятый год целины — за окном моей квартиры послышалось урчание мотора. Через две минуты в дверь постучали. Вошли два вооруженных человека. Признаться, я немного оторопел. Но тут же очухался: друзья-охотники — любители острых ощущений. И участкового инспектора милиции Гололобова, и заготовителя райпотребсоюза Барбаева узнал тут же.

— Принимай, директор школы, гостей!— пробасил Гололобов, вешая карабин рядом с

моим ружьем, над кроватью.— Как говорится, во исполнение обещаний.

Я уже давно смирился с ролью негласного егеря: расползся такой слушок, что лучше меня, мол, никто здешних охотоугодий не знает, а в постижении звериных повадок собаку съел. Морозец меня немного смущал, я намекнул об этом.

— Ничего! — с оптимизмом ободрил меня Гололобов.— Для сугреву грамм по двести пропустим да в тулупы — никакой мороз не возьмет...

На конюшне мы очутились уже часу в десятом вечера. Так спланировано было время ночной вылазки на волков. Их тогда в степи изрядно было. Стаями ходили, особенно зимой.

Послушаем теперь старика Бородая:

— Смотрю, заявляются три богатыря, в боевые доспехи обряженные. У двоих по ружью и в поясах набито — только на царский дворец в революцию наступать. У энтого третьего, военного, винтарь добрый, карабин свеженький. Животик полненький, все подсумками завешан. Сам из себя — ну, апостол форменный: три аршина росту одного будет. Вторые два полегче будут,— продолжал дед,— кило по восемьдесят. С амуницией-то. (Тут старик уже туману напускал. Говоря обо мне, как об известном для поселка жителе, он приглушал свои восемьдесят кило «амуницией». Кто, дескать, точно подсчитает, сколько оно будет с амуницией-то?) Достает энтот военный бумажку, подает. От начальника, дескать, разрешение пару коней

запречь да выехать в сторону скотомогильника, где гужуются по ночам волки. Соображаю. А сам их обсматриваю, козью ножку скручиваю. Себе думаю: у того военного обличье круглое, румяное, паром заходится. И энти, другие, глазищами хлестко шныряют. Иному волку не уступят. Однако и свой фасон соблюсти надо, к тому же дело-то рисковое.

«Волк,— говорю,— зверина умственная. Повадки его разгадать — дело великое. Тут ведь,— говорю,— и артикул себе знать надо, и всякую сумбрамацию».

Смеются:

«Да знаем, дед, и артикул и сумбрамацию. Сам-то ты, дескать, не мондражишь ли?»

«Нет,— говорю,— не мондражу, больно-то. А только работа, скажу вам откровенно, не ахти какая интересная. Веселости, говорю, в ей совсем мало».

Калякаю я с ними, а сам думаю: «Антихристы окаянные! Откуда вы только свалились на мою голову? А можать, и на погибель мою».

На нашем,— говорю,— скотомогильнике волк наглый пошел. До утра жрет, до обеда облизывается. Да только теперь там свежей падали нету, кормов у нас хватает, скот не мрет. Ребра кое-какие обглоданные валяются. У него-то, у волка, зверскости поприбавилось, настрою поубавилось, хотя свадьбами ходит.

«А вот мы его,— говорят,— и поднастроим. Мы его на приманку взять хотим».

«На какую такую приманку?»

«Затравочку, мол, мы ему припасли».

На мешок указали, валенком его толкнули. Мешок поросеночком захрюкал. Хитры, думаю, бестии, а только как же, себе думаю, намерены они живностью энтой распорядиться?

«Поросеночка вашего волки,— говорю,— в одночасье слопают и конями моими закусят. Не пойдет такая фантазия».

«Нет, мы по-иному. На веревке поросячью подстилку,— говорят,— за санями поволокем для духу, а поросенок сам, дескать, для звука. Мы его,— говорят,— за уши подергивать станем, чтобы повизгивал, а сами в пять стволов такую свадьбу волкам сыграем, что небу жарко станет».

Раскурил Бородай свою козью ножку величиной с трубу баритон, собираться не торопится. Мы ему на позднее время намекаем. У самих, признаться, терпение совсем иссякает.

— Ничёво, витязи, потерпите! Ночь длинная, успеете намаяться. Меринам моим от овса отрываться тоже не резон. По медицине не положено. И то сказать, не на крестины зовете?

Стоит он, раздумывает, без чура частые затяжки делает, в сторожке уже дышать стало нечем.

— Ну, пойдемте,— говорит и стал стеганый пиджак надевать.

...Застоявшиеся кони с места пошли проездом. Бородай их не удерживал. Встречный ветерок пощипывал носы, щеки. Полная лу-

на работала на совесть, сама природа, казалось, старалась быть нашей союзницей.

— На эту стерву только с пулеметами и ходить,— заговорил наконец Бородай и стал попридерживать лошадей. А кучеру на такое дело шашка вострая полагается. Чтобы в упор, с глазу на глаз, без промашки. Чего смеетесь, как малые дети?

Тут Бородай явно не той мерой измерял, взрослым порою далеко бывает до детского благоразумия.

— Топорик прихватить, дурак, забыл,— спохватился вдруг Бородай и стал порешительнее сдерживать коней.

Покручивая головой, он пристально всматривался в оголенные до блеска кусты таволожки и, уже переходя на полушепот, оборачивался к нам:

— Теперь смотри в оба. Оружье-то на взводе держите!

Оружие мы еще на взводе не держали. У нас был свой, как нам казалось, хорошо продуманный план. До могильника оставалось шагов триста. Обнаружив волков, нам полагалось насторожить их, раззадорить свинячим запахом, визгом и, повернув коней на обратный ход, тронуть, имитируя, трусливый уход, а волки — за нами в погоню. Хотя все до мелочей было продумано, не учтен был один весьма существенный аспект. Но послушаем, как Бородай рассчитывался за нашу промашку и как потом расписывал эту ситуацию.

— На могильнике энтих проклятых вурдалаков шастало видимо-невидимо. Я думаю,

с полтыщи было. (Зверей действительно собралось много, но не более полутора десятков.) Я говорю им: «Какого рожна претесь, поворачивать в сторону дома надо». А энтот, военный-то, вожжи у меня перехватывает, все вперед понукает. Батюшки, себе думаю, соберись волк с духом, и оборониться-то нету никакого удобства, по лошадиным головам палить придется, а в сторону от дороги — коням по брюхо снега. Балочка ведь. Развернуть бы меринов не спеша, поставить бы их и сани на высокую наезженную дорогу! Перехватил я вожжи, стал разворачиваться в сторону дома. Тут вся страхота и открылась. Заиграли зеленые глазищи — света божьего не видно, пчелиный рой, да и все тут. И тени, одни тени, а самих-то не видать. Военный бросил им поросячью подстилку в сетке, и сам поросенок тут в санях завизжал.

Чего тут сотворилося?! Как потекли со всех сторон, как начали выныривать, из-под земли будто. Лошади головы вздыбили, ушами заходили. Вожжи тяну — силы моей нету. А поросенок из мешка адские сигналы подает. Боже ты мой, себе думаю, пропадать всем не за понюшку табаку. И тут первый, вожак видать, наперед вдруг выскакивает, а за ним — вся свора. Вот уж в десяти шагах.

Бородай опять сгущал: волки были еще в метрах пятидесяти. Гололобов — человек, надо отдать ему должное, исключительного мужества — велел трогать. Лошади с храпом пошли ходко, но Бородай их придерживал. Волки стали нас преследовать. Вырываясь вперед, к волоке с поросячьей подстилкой,

они обнюхивали воздух и, будто догадываясь о чем-то коварном, прыскали по сторонам, исчезая в лунном молоке.

Но тут завизжал, захрюкал поросенок, и, соблазненные его звуками, волки начали приближаться к саням. Наконец один не выдержал, в несколько прыжков настигнув волоку, схватил зубами и оторвал. Стая, боясь упустить «добычу», мигом навалилась на волоку. Образовалась плотная куча.

Гололобов подал команду:

— Давай!

Дружный залп прогремел в морозном воздухе.

Вот тут и началось.

У Бородая этот эпизод выглядел неподражаемо:

— Кони понесли как ошалелые, братцы мои! Чево тут сотворилося! Меня при энтом самом срыве на поросенка того и шибануло. Он, знать, там света божьего невзвидел, завизжал как резаный. Я хоть и скопырнулся, а команду всем подаю: «Ружья крепче держите!» Пока с поросенка-то слез да малость оклемался, вижу: пошла потеха! Энтот военный, значит, по целой пятерке в карабин засовывает, дует уже без всякого прицела. А энти, другие, пока туда-сюда с переломками своими...

А волки уж наседают, грызут фанерный кузов саней. Один, сукин сын, должно быть, поклажу аппетитную возле меня унюхал, морду клыкастую вот-вот, вижу, на правый отвод положит. Глазищами зелеными на меня зыркает. Царица небесная! Что делать?

Я кричу: «Отгоните вот эту гадюку подалее отседова! Он же меня в момент сожрет!..» А у них самих, знать, свои телеса трясутся, в кого тут стрелять, когда их тьма-тьмущая? Я тут о топоре и вспомнил. И такая досада, братцы! Эх, шашечку мне бы теперича востренькую. Распрощался бы энтот ирод с головушкой, перевалилась бы она через отвод.

Тут я развернулся, тулупчик с колена откинул да валенком его хотел от отвода оттолкнуть. Да только валенка-то на ноге как не бывало. Рванул, гад, с такой силой, что сам я едва в санях усидел.

«Поросенка,— кричу,— бросайте! Выкиньте его обратно!..» Я в передок все прижимаюсь, чтобы подалее от опасности. А энтот, что валенок сожрал, опять рыло на меня пялит. Военный, вижу, стволом его в морду — патронов уж не было,— а он только зубами лязгнул по железяке и с карабином вместе на снег свалился. А энти, другие,— по сторонам им несподручно палить — назад палют. Ну ж, думаю себе, откуда у зверей такая хищность берется? И тут опять о поросенке вспомнил. Снова кричу, чтобы отдали его на съедение.

Волчьи ряды редели, хотя и не так быстро, как этого хотелось бы. А лошади, взбешенные страхом, храпя, скакали во всю прыть. Никто их уже не удерживал: лопнула левая вожжа. Сани мотало из стороны в сторону, и казалось: вот-вот они перевернутся.

Один волк — лобастый и крупный, с темным ремнем вдоль спины — сравнялся с санями и, вытягиваясь в струнку, прыгнул к

горлу правого коня, но, не достав, крутнулся в воздухе, упал на спину, однако тут же схватился и, блеснув клыками, снова стал настигать нас.

Бородай, вскричав «матушки!», закрылся с головой тулупом и согнулся на козлах в три погибели.

— Да замолчи ты, дяденька! — закричал Гололобов и выстрелил из нагана в волка.

Волк присел и, ощерив пасть, цапнул себя зубами за бок, покатился клубком в сторону. Остальные звери заметно отставали, отскакивали в сугробы, проваливаясь по брюхо, и, прощально сверкая зелеными глазами, оставались в снегу.

Приближались огни поселка.

По последнему волку Гололобов сделал два выстрела из нагана и, кажется, ранил его. Мы с Барбаевым уже не стреляли — патроны кончились.

Лошади со всего хода ударили дышлом в ворота, и мы влетели в конюшню. Дышло угодило в массивную подпорку-стояк и, как спичка, треснуло, разломилось пополам. Кони закрутились вокруг подпорки. Пена с них падала хлопьями.

Все это уложилось, казалось, в одно мгновение, и не верилось, что мы были живы. Больше того, ни у кого не оказалось ни ушиба, ни царапины. Только поросенок в мешке, поняв, должно быть, что деловая миссия его окончена, капризно запросился наружу.

Гололобов развязал мешок, приговаривая:

— Выходи, милый наш друг, выходи! Только ты один безукоризненно нес сегодня

свою многотрудную службу. Понимаешь ли, какое великое дело сделал?

— Окаянная сила! — невесть в чей адрес проговорил Бородай.— Какую оказию перетерпеть пришлось!

А утром мы подобрали семь убитых волков, карабин и бородаевский валенок. Сам Бородай долго его разглядывал, цокал языком, приговаривая:

— Изрешетили клыками-то, как пулеметом. А валенок сохраню, пока внук из армии не вернется. Покажу ему. Пусть посмотрит, как сражался со зверем дед, как обувку зверь изрешетил, ногу чуть не откусил, проклятый!

Обувка, кстати сказать, была цела-целешенька, если не считать трех царапин, будто гребнем железным прочерченных...

Рассказ мой вызвал у всех веселое настроение. Улыбаясь, Проскурин сказал Данилову:

— Без матраца, как Бородай без валенка, я не останусь, а вот им бы досталось на орехи,— кивнул он в мою сторону,— если бы сани перевернулись. Ох и поколошматили бы их волки в сугробах! Ну, хорошо то, что хорошо кончается. Ладно: делу время, а потехе час. Завтра уж хлеб косить начнем, вот где охота! Не проспи — с напускной строгостью сказал мне Проскурин и пошел к складу...

Уборка хлебов в наших краях начинается в середине августа. К этому времени колос набухает зерном восковой спелости и, сгибаясь в дугу, приобретает темно-бронзовый

цвет, а нивы издали походят на золотые разливы лиманов.

Дикие гуси небольшими стайками — старые вместе с молодыми — уже полетывают на поля, но подходить к хлебу еще боятся. Кружат подолгу над нивой, высматривая безопасные подходы к ячменю или пшенице, и, приземлившись где-нибудь на целине или на дороге, сторожко осматриваются вокруг. Затем начинают подходить к хлебу все ближе. Подойдя, спешно срывают клювами колосья, с жадностью вытеребливают мягкое еще, но вкусное зерно.

Из совхоза в бригаду мы выехали ранним утром. Степь оживала, разбуженная рокотом моторов. Проскурин, крутя баранку, сосредоточенно смотрел вдаль, все что-то говорил, показывая то в одну сторону, то в другую. Я потрафлял его замечаниям и жестам, хотя из-за непривычного гула машины не слышал почти ничего. Проскурин же был весь поглощен заботой великого дела. Выглядел он каким-то собранным, светящимся изнутри. Притягивая меня за полу пиджака к себе, кричал в самое ухо:

— Вот узнаешь теперь, что такое хлеб!

Он пристально всматривался, проезжая мимо ставших на изготовку комбайнов. Одним механизаторам приветливо помахивал рукой, другим грозил пальцем, третьим — кулаком, осуждающе крутил головой.

— Вот ведь супротивный! Предупреждал же его!

Поперек дороги стоял комбайн Ивана Лихобабы. Еще там, на машинном дворе, Дани-

лыч, как механик, собирал всех молодых механизаторов на инструктаж и говорил, чтобы жатки ставили в транспортное положение при помощи специального болта. Но то ли недослышал этого Иван, то ли пренебрег советом Проскурина, только врезался теперь жаткой в сурчину.

Данилыч бегал вокруг комбайна Лихобабы, хлопотал, сокрушался.

— Да пусть! — кричал я ему, когда, выручив Лихобабу, мы поехали дальше.— За всеми не усмотришь!..

— Как это не усмотришь? — гневался Проскурин.— На то я и председатель группы народного контроля. Ведь знают же, что расхлябанности не потерплю!

За нами тянулась негустая цепь комбайнов, все более таявшая по мере удаления от совхоза. Мы направлялись к дальним полям, где нас ждала тучная низовая пшеница, требующая навыка, прилежания от механизатора. На одном из комбайнов я узнал Лешку Данилова, о котором в совхозе говорили немало как о передовике-скоростнике. Я знал также, что Проскурин вызвал на соревнование Данилова, договорился работать с ним рядом. Но Данилов вдруг свернул в сторону и поехал на другую клетку. Проскурин погрозил ему:

— Хитришь, забодай тебя комар! Знаю, зачем от меня пыхнул: по-скоростному ходить!..

Степь проглотила его слова, а Данилова и след простыл.

Приехали мы на самое дальнее поле. Проскурин осмотрелся вокруг, сошел на землю. Плоской, отшлифованной штурвалом ладонью он с наслаждением ощупывал прочные стебли пшеницы, перетирал увесистые колосья, улыбался. Полой пиджака он отер потное лицо, засмотрелся на хлеб, который, казалось, дремал. Конца и края пшенице не было. Проскурин смотрел в беспредельную даль, и мне показалось: вот-вот перекрестится он по старинному крестьянскому обычаю. Признаться, я бы не удивился: хлеб, ей-ей, достоин уважительного благоговения, выходящего далеко за рамки молчаливого созерцания.

Данилыч отмерил двести шагов, велел мне стоять с шестом, увенчанным фуражкой.

— Вот так держи! А я поеду на другой конец отбивать загонку.

...Первый валок лег ровно, как тонкий ломоть свежеиспеченного хлеба. Потревоженная гуща пшеницы пряно запахла зерном, землей.

На втором круге Данилыч передал штурвал мне:

— Берись, не робей!

Он расправил ладонь, сказал:

— Вот она, владыка! — и засмеялся от души.

— Держи тверже! — крикнул он, поправляя штурвал.— Тут тебе не асфальт, а пахота, да еще какая!

Пахота и впрямь была канительная. Чувствуя дрожь и качку комбайна, я терял всякое понятие о хорошем бороновании, тем бо-

лее о катковании: его вроде и не было здесь. Особенно донимало переключение скоростей. Метрах в пятидесяти от дороги, за густой высокой зарослью пшеницы, начинался вдруг тощий, низкий стебель. Ближе к другому краю — опять гущина.

— Отчего такая разношерстность? — спросил я.

— Гони знай? — махнул рукой Данилыч.— Агроном не любит далеко от дороги мерить...

Я поглядывал на него, стараясь понять сказанное, а он снова мне:

— За жаткой гляди, огреха чтоб не было! — И продолжал: — Вмоготу ли агроному все перемерить: десятки тысяч гектаров. А Витька Фадеев, гляди вон, быстрее нас ходит. Не думай, что вершки сбивает. А все потому, что на своем поле он. Сам пахал там, бороновал, сеял... Закрепить бы поле за звеном, скажем,— не спеша обобщал Данилыч.— Подбор, конечно, по согласию, кто кому люб, кто кого в сотоварищи хочет. Вот и сжились бы так с землей, как Витька Фадеев. Ухожена была бы нива.

Во всяком труде постижение радости тем глубже, чем ощутимее его результат. Я видел плоды своей работы тут же, не сходя с рабочего места. Это было необычно, удивительно для меня, учителя, привыкшего к кропотливому школьному делу обучения, воспитания детей, с малоощутимыми сиюминутными результатами.

По загонке кто-то бежал за нами, махая руками. Я убрал газ.

— Ну, кажись, первая ласточка,— нахохлившись, сказал Проскурин и сошел с мостика на землю.

«Первая ласточка», исходя пóтом, еле переводя дух, взмолилась в мальчишеском откровении:

— Дядя Миша! Бачок у тебя в бункере... Лишний ведь...

— А ты откуда знаешь? — цыкнул Данилыч.— Ты как проведал, что у дяди Миши в бункере?

— Ребята говорили.— Паренек уже совсем жалобно протянул: — Дайте, дядя Миша, все пересохло!

— Видал! — пальнул в меня колючий взгляд Проскурина.— Видал, что вытворяют? В поле приехали без воды! Ух, разметáл бы вас, беспечных! Лезь, бери бачок. Да поживее, не тормози работу!

Я засмеялся, а Данилыч был спокоен, немного задумчив. Когда парень отошел уже далеко от нас, в голову мне пришла мысль: не мягко ли обошелся Проскурин с ним? Построже бы надо спрашивать за нерадивость. Об этом я сказал Проскурину.

— Нет,— спокойно ответил он.— Этого парня нерадивым назвать нельзя. Нерадивый о подмоге не попросит: воды нет — погонит на полевой стан комбайн. Этому парню земледельческого навыка не хватает, со временем придет...

К вечеру вдруг пахнуло сырым ветерком, потянула низкая хмарь. Данилыч беспокойно посматривал на небо, сокрушался:

— Совсем ни к чему. Вот уж некстати!

Когда безнадежно загустела непогожая мгла и на теплые пыльные руки упали первые капли, Проскурин попросил штурвал:

— Хватит. Ревматизм нам не нужен!

Он свернул машину в сторону и, врезавшись в густотравье придорожного окрайка, заглушил мотор. Уши придавила густая тишина, отдаваясь в глубине сиротливым колокольчиком. Только слышался отдаленный гул комбайнов — неусыпный, как морской прибой. Я не мог понять замысел друга: вставать на отдых было рано, моросящий дождь не казался мне помехой.

— Пускай их тарахтят,—стараясь скрыть беспокойство, сказал Данилыч, но, будто подстегнутый, сорвался вдруг с места и побежал от комбайна. Тело его, пружинящее, легкое, скоро превратилось в еле приметную серую точку.

Вернулся он не скоро, довольно сердитый. Я в это время устраивал постель под комбайном, загораживая продув бурьяном.

— Ну, черт с тобой! — посылал Данилыч в чей-то адрес злые ругательства.— Сама себя раба бьет, что не чисто жнет. Небось завтра же прибежишь: «Дядя Миша»... Я тебе покажу дядю Мишу!..

Комбайн Данилова замолк часа через полтора. Ворочаясь в постели, Проскурин досадно вздыхал, бурчал:

— Выдохся, скоростник, противная твоя душа! Поделом. Кто не слушает умного совета, тот бывает наказан за это.

К полуночи небо очистилось от заволоки, прозрачно играя звездами до самого горизон-

та. К утру в мягких струях степного ветра растительность протряхла, а с первыми лучами солнца хлебный стебель обсох, выпрямился. Мы выехали из густотравья совершенно «здоровыми», без «ревматизма», а машина Данилова, пораженная тяжелым недугом, упорно молчала, мстя хозяину за оплошность.

Случилось все просто: брезентовое полотно жатки намокло и перекосило планки, а те, проходя неровно по валу, поломались. Косить было нельзя.

На поклон Данилов пришел пристыженный.

— Дядя Миша!..

— Дядя Миша будет ставить вопрос ребром! — осердился Данилыч.— Бери полотно, да поживее.

Бункер наш разгружался от всяких деталей довольно ходко. Всякий раз при появлении «потерпевших» мне было неудобно смотреть в глаза Проскурину: ведь я же противился загружать бункер. Данилыч, как ни был сердит в таких случаях, всегда оставался верен своему: «Жалко их, супротивных, душа у них нараспашку...»

Однажды я не выдержал:

— Ведь не дети же они! Может быть, привитие навыка в испытании, в горьком сознании промаха?

— Нет,— с заметной обидой возразил Проскурин и умолк, а за обедом, утерев порозовевшие губы, начал совсем неожиданно, с какой-то горячностью: — Хлеб сеять и жать не каждый может. Тайна хлеба только

в поле постигается. Тут смотри не промахнись. Оборвешь интерес у молодого хлебороба — погаснет запал в душе. Лопнет струна — конец всему.

Он припалил беломорину. Помолчал.

— Говоришь, пользы нет. А ты посмотри попристальней. Все молодые, с которыми я работал, хлеборобами стали. Перечислять — на руках пальцев не хватит: Мазуренко, Сидоренко, Лунев орденами Ленина награждены. Сам знаешь, на пятки мне наступают. Пазынич Василий — орденоносец. Пять сезонов без капитального ремонта на одном комбайне, машина — игрушка! Намолоты у него всегда высокие, до зернышка вытряхивает из колоска. А трактористы? Чуаз, Зуберский, Костенецкий, Филатов... За ними смотреть не надо. Что сев, что пахота — сердечко в землю вложено. А Данилов,— показал он рукой вдаль,— разве он как хуже хотел? Вон и Фадеев вначале не ахти какой радетель был, а позавчера на шестой клетке обмолачивать валки стал, командировочный шофер на скорости нерадиво кузовом тряхнул, пшеничка и выплеснулась. На следующем рейсе Фадеев заставил его зерно руками собирать, кочетом пошел, а заставил.

Мы шли, шурша стерней, а Данилыч еще долго не мог унять себя. На краю загона стоял комбайн. Мы подошли к нему и увидели, что комбайнер Петр Филатов ставил новый вариаторный ремень, а бригадир Мазуренко помогал ему.

— Привет, орлы! — поздоровался с ними Проскурин.

— Привет, привет передовикам соревнования,— ответил Мазуренко, не отрываясь от работы.— Да вот,— сказал он Проскурину,— решил эту клетку напрямую косить. Зерно в колоске затвердело, а хлебостой низковатый. Куда его на свал?

— Ты все не каешься, Степаныч? — улыбнулся Проскурин.— Заладил опять — напрямую. Вот наедет на тебя, как помнишь тогда, Сокуров, покажет кузькину мать.

— Да, было когда-то такое,— рассмеялся Мазуренко,— тоже на этой же клетке.

Произошло это довольно давно. Тогда предлагалось убирать все поля только раздельно, в каком бы состоянии ни был хлеб: высокий, низкий, недозрелый, зрелый или совсем перезрелый, истекающий уже зерном. По этому случаю от райсельхозуправления были командированы в совхозы уполномоченные, которые повсюду твердили одно: косить только раздельно! «Давай, давай!» — говорили они. И это «давай» вплеталось в музыку большой страды, как барабанная дробь в торжественную сюиту.

Косим на свал, и ладно, а будет или не будет зерно — потом поговорим. Уполномоченные напоминали зрителей театра, хлопавших в ладоши. Если какой-нибудь комбайнер не намолотом старался удивить, а гектарами, то опять же интересы сторон не расходились. Многие клетки были усеяны зерном сплошь, но никого это не волновало.

Уполномоченные, должно быть, сами понимали свою нескладную роль. Они слонялись без дела, как генералы без войск. Порой

на них жалко было смотреть: сути хлебобробского дела большинство их не понимало, негде было им толком ни поспать, ни поесть. При всем желании не могли они ничем спасти терявшееся зерно или помочь механизатору в вынужденном простое из-за нехватки запасных частей.

Один такой уполномоченный подъехал как-то к Александру Луневу, спросил:

— Почему стоишь? Почему не косишь?

— Да вот ремень ходовой порвался.

Уполномоченный пошарил глазами по степи, как будто там, у далекой кромки горизонта, должны висеть в воздухе эти самые ремни, сорвался вдруг с места. Пробежав малость, остановился, крикнув издали:

— Эй, слушай, как тебя? Что за ремень? Чего им подвязывают? — и, узнав, что это ремень не брючный, а ходовой, вариаторный, уехал и больше не появлялся здесь. Ремней таких нигде не было.

Были и другого рода уполномоченные, исполняющие «свой долг» ревностно, до конца. К их числу относился глава всех этих уполномоченных, уже известный читателю начальник райсельхозуправления Сокуров. Сейчас его нет в наших краях, но тогда между ним и Мазуренко произошел, как говорят целинники, сцеп — от слова «сцепиться».

Хлебный клин на шестой клетке выдался в тот год жидковатым. Пшеничка выросла со стебельком сантиметров на тридцать от земли, а колосок все же плотненький, зернышко есть. Колосок уже на подходе был, пожалуй, пора его под нож. С вечера Мазуренко сде-

лал разнарядку, а утречком, только степь отзарилась, десять комбайнов огласили поля гулом, готовые к штурму этой невысокой крепости. Построились и пошли косить напрямую. Потекла в бункер пшеничка, как вдруг показалась в полверсте «Победа», покрикивая клаксоном. Она показалась Мазуренко какой-то нежелательной, подозрительной в этот располагающий к работе час.

— У меня,— рассказывал после этого Мазуренко,— особое чутье выработалось на эти машины. Уже заранее чувствую, какая машина, какое мне известие везет. А тут у меня сердечко только — ек!

Мазуренко не ошибся. Подкатив, «Победа» с разворотцем тормознула, и, распахнув дверцу, вышел начальник райсельхозуправления Сокуров. Вид у него был столь озабоченный, что Мазуренко подумал: уж не скопища ли саранчи поблизости? Сокуров не собирался попусту тратить время: то скрещивая руки, то махая ими, как сигнальщик на море, он подавал отчаянные знаки механизаторам.

А комбайны все шли да шли, кося пшеничку напрямую. Видя это, Сокуров оставил бесполезное занятие и обрушился на Мазуренко:

— Что стоишь, рот разинул?!

А у Мазуренко, между прочим, рот был так плотно сжат, что желваки в скулах играли. Он бросился в легковую машину начальника и приказал шоферу ехать. Догнав ведущего комбайнера, велел ему остановиться. Остановились и остальные. Тогда, повернув

к Сокурову и выйдя из машины, Мазуренко спросил:

— Может быть, вы объясните, в чем дело?

— Кто напрямую косить велел? — не гася раздражения, закричал Сокуров.— Кто, я тебя спрашиваю?

— Так ведь...

— На предписание мое тебе наплевать? Значит, что хочу, то и ворочу? Почему самоуправничаешь?

— Да какое самоуправство? Пшеница тридцать сантиметров,— улучив паузу, сказал Мазуренко,— растеряем зерно.

Чувствуя, что у начальника кроме амбиции есть еще немного и терпения выслушать, скороговоркой стал пояснять:

— Двадцать сантиметров на стерню, товарищ Сокуров, десять — пятнадцать на колосок. Как же потом подберешь? Она вся в поле останется.

— А жатки-виндроуэр для чего? Мы что, зря такие жатки завезли?

— Не зря, но что сделает виндроуэр, если хлебостой низкий? Не будет же жатка вырывать стебель с корнем!..

Сокуров выпрямился, вытер лицо белоснежным платком и сказал с подчеркнутой непобедимостью:

— Косите, как сказал! — И, уже садясь в машину, добавил еще решительнее: — Считайте, что таково мое письменное распоряжение.

Когда машина скрылась в сизоватой дымке, Мазуренко собрал комбайнеров. На воп-

рос «Какие распоряжения поступили?» сердито махнул рукой:

— Давайте, хлопцы, поживее. Я еще сюда подошлю комбайнов пять-шесть. До вечера все четыреста гектаров надо махнуть обязательно. Не дай бог этот,— он показал в ту сторону, где растаяла «Победа»,— вернется к вечеру.

— А чо он? — спросил кто-то из комбайнеров.

— Да приказал на свал косить жатками-виндроуэр.

— А вот этого он не хотел? — отчеканил тот же бойкий парень.— Он чо, с бугра упал?..

И пошли по машинам.

На другой день действительно приехал Сокуров. Увидев, что поле пустое, покровительственно похлопал по плечу Мазуренко.

— Вот видишь, а ведь артачился. Пшеничка-то молодцевато подобрана. Все-таки виндроуэр — сильная, замечательная жатка. А ты о потерях мне толковал. По скольку на круг взяли?

— По пять центнеров,— ответил Мазуренко.

— Ну вот, видишь, по пять. Не так уж и плохо. Вот она — раздельная уборка.

Механизаторы, слыша этот разговор, добродушно посмеивались да поддакивали подобревшему начальнику.

— Много было разных чудачеств,— как бы сам с собой заговорил Мазуренко.— Когда там о высоких сборах зерна думать? — И уже обращаясь к Проскурину, спросил:

— Значит, завтра переключаетесь на обмолот валков?

— Да, пора уж,— ответил Проскурин.

...Косовица на свал кончилась. По степи, насколько охватывал глаз, лежали бесконечные ряды поверженного золота. На очереди была подборка.

Ни один вид сельскохозяйственных работ не обнажает так ярко все погрешности в организации производства, как уборка. В уборку говорят и о семенах, второпях протравленных, и о кондиционности их, сортности, о некачественной обработке земли: вспашке, бороновании, культивации. Все ручейки и речки человеческой мысли сходятся на одном: земля может давать хлеба больше, если относиться к ней заботливее.

Вот и на этих полях, где уже много лет подряд бригадирствует коммунист Петр Степанович Мазуренко, благодаря заботливому уходу за хлебной нивой урожаи из года в год растут. В среднем с каждого гектара здесь получают стопудовые урожаи, а отдельные участки дают по двадцать и более центнеров зерна на круг. Радостно, интересно работать на такой щедрой ниве, особенно когда ведется обмолот валков. Зерно потоком льется тогда в объемистый бункер.

Рано поутру мы приехали с Проскуриным на то самое поле, где впервые начали косовицу пшеницы на свал. Теперь пшеница, уложенная в валки, лежала, просохшая, на стерне, золотоволосая, с крупным весомым колосом.

Первый валок Проскурин доверил брать мне. Я долго прицеливался, наконец, наметив створ, ринулся вперед. Желтый валок зашевелился и побежал в чрево машины, как бумажная лента. А комбайн все шел и шел, глотая нескончаемый валок, и уже не капли, а мощный поток изливался из пасти шнекового элеватора.

Данилыч стоял на мостике, подставляя руки под упругую струю. Набрав в пригоршни зерен, он нюхал неповторимый солнечный запах хлеба, брал на зуб янтарное зерно и, улыбаясь, кричал:

— Сто пудиков верных!

На душе у меня стало легко. Чувство неуверенности сменилось небывалым подъемом. Так предгрозовая оторопь уступает место порыву сдружиться со стихией, застигнувшей тебя врасплох. Хочется идти и идти вперед, не ведая ни страха, ни боязни намокнуть. Движешься навстречу ливню, ветру и не знобко тебе, и не страшно, будто сам ты сын стихии.

«Сто пудов! — как звон набата, стучало в груди сердце.— Ведь все собственными руками!»

Уже обед нам привезли, а отрываться от косовицы хлеба не хотелось. Кормилица наша Галя — маленькая, кружкой воды облить можно,— щурясь, всматривается в даль, машет половником, зовет. Потом разливает по мискам суп и, точно извиняясь за чей-то чужой грех, уже в который раз говорит:

— Сегодня уж как-нибудь, а завтра блины.

Галю все любят, поэтому не критикуют за однообразие блюд. Да и то сказать, где уж тут до блюд? Время дорого — хлеб не ждет.

Для Данилыча уборка — большой праздник, но не меньшее и беспокойство. Он и сейчас волновался потому, что шоферы не успевали отвозить зерно от нашего комбайна. Урожай выдался богатый: комбайн пройдет по валку метров триста — бункер полный. Приходится простаивать в ожидании машины. Проскурин в такие минуты чертыхался.

— Нет, так работать нельзя,— говорил он.— Что-то тут не так. Машин вроде бы хватает, да вот долго ездят от комбайна к току. Что их там задерживает? Проверить бы надо.

Но проверка требовала времени. Проскурину его терять не хотелось. Он внимательно всматривался в степь: не идет ли машина к его комбайну? И однажды замахал фуражкой в сторону проезжего самосвала, а мне сказал:

— Это же твой друг Бастанжиев тут раскатывает. Вижу уже который раз порожняком. Как думаешь, не уговорим мы его помочь нам?

Мне показалось, что задумка Проскурина не пустая. Бастанжиева я знал как доброго, покладистого человека. Он был из соседнего совхоза, слыл исполнительным, знающим свое дело шофером. На целине он с первого колышка, приехал из Ростова вместе с женой. Приехал как будто на время, да так и остался. Теперь у него трое детей, свой дом, сад, огород. Уважают его в совхозе за

хороший труд. Здесь его наградили орденом «Знак Почета», здесь он вступил в партию и уже много лет подряд является членом парткома совхоза.

Однажды мне пришлось быть свидетелем запомнившегося мне случая. В тот раз я собирался ехать с Бастанжиевым в город Атбасар. Ему нужно было привезти костную муку для свинофермы, а мне — мел и классные доски для школы. Утром мы собрались в дорогу. Он поехал почему-то в сторону мастерских. На мое недоумение ответил:

— Тормоза хочу подладить.

Я чувствовал, что тормоза у него в исправности. Проезжая по совхозу, видел: работают они нормально.

— Зачем? Ведь хорошо же работают,— сказал я ему.

— Работают,— ответил он,— по-учительски сказать, на четверку с плюсом, а хочу, чтобы на пятерку. Таково мое правило.

В городе мне довелось убедиться, что правило это не каприз Бастанжиева. Уже загруженные, мы поворачивали с одной улицы на другую, как вдруг перед самыми колесами прокатился мяч, а вслед за ним выбежал мальчишка лет двенадцати. И быть бы ему под колесами, но огромная тяжелогруженая машина со свистом замерла в полуметре от побледневшего мальчика.

— Вот, Василич, какого качества нам при выезде не хватало,— сказал взволнованный Бастанжиев.— Пятерка-то его и спасла. Я всегда об этом думаю, когда утром сажусь за руль. Тормоза — прежде всего.

Сейчас он подъехал к нашему комбайну.

— Выручай, брат, Лусеген Богосович! Запарка у нас. Вот стоим, ждем, разгрузить нас некому, а ты, я вижу, пустой прокатываешься.

— Пустой я, Данилыч, временно. У меня вон тоже два комбайна стоят.

— А что с ними?

— У одного вариатор полетел, у другого — подборщик.

— Долго простоят?

— Да часа по три каждый, если не больше.

— Вот ты и поработай у нас, чтобы тебе время не терять.

Казалось, Бастанжиев был немного обескуражен. Он хотя и питал к нам свое доброе расположение, но ситуация, видимо, показалась ему необычной.

— Помочь — это не вопрос, да и заработок здесь не главное, а только как же?.. Совхозы-то у нас разные.

— Разные-то разные,— не отставал Проскурин,— да все они наши. Хлебушек — тоже.

Уловив податливость на лице Бастанжиева, схитрил:

— Голубя желтого николаевского тебе отдам.

О голубях Данилыч заговорил неспроста. Он-то знал слабость Бастанжиева, сам до голубей был охоч. А Бастанжиев, смело можно сказать, первый голубятник во всей округе. Да что там голубятник! Он всякую птицу почитал за счастье в доме приголубить, дове-

дись ей быть подраненной из рогатки или по другой какой причине. И собиралось у него в квартире целое птичье царство: скворцы, галки, щеглы, воробьи... Все они были ему дороги, независимо от птичьих рангов: певчие или просто чирикающие, порхающие — всех он их вызволял, выхаживал и выпускал на волю. Кстати, первые скворечни, когда не селились еще скворцы в наших местах, появились во дворе Бастанжиева.

— Нет, Данилыч,— наконец сказал Бастанжиев,— не будем тревожить голубя с насиженного места. Я уж вам и так помогу. Верно, хлеб-то, он действительно общий.

Так без особого, можно сказать, труда обрели мы себе дополнительную машину на этот день, и комбайн наш уже не простаивал. Мне было очень приятно, что люди, призванные, по существу, для общего большого дела, сразу поняли друг друга и до вечера работали слаженно, споро. Данилыч, кажется, тоже был на седьмом небе от удовольствия. Завидев на поле самосвал Бастанжиева, он восторженно говорил мне:

— Вот наш помощник едет.

Когда Бастанжиев отъезжал с полным кузовом от разгруженного бункера, Проскурин подсчитывал:

— Пятнадцатый бункер повез. Вот так бы люди умели понимать друг друга.

Проскурин заботился не только о том зерне, которое уже было у него в бункере, но и о том, что могло быть растеряно по вине механизатора или самой техники. Однажды, когда мы переезжали на другое поле, он ос-

тановил комбайн, подошел к вымолоченной куче соломы, позвал меня:

— Гляди. Хорошо вымолочена?

Зерен в измятых колосьях не было.

— А здесь вот другая картина,— приподнимая солому, говорил Проскурин.— Видишь, как зерно капает? Но не подумай, что Данилов виноват. Это он работал здесь. Тут беда в другом.

— В чем же?

— В несовершенстве самого комбайна. Вот мне и говорят: смотри, мол, на тебя надеемся, у тебя, дескать, опыт. Потребуется помощь — скажи, не откажем. Это все хорошо. Вопрос решили, точку поставили. Принимаюсь за дело. Там подскажешь, тут покажешь комбайнеру — идет дело. Потери — минимальные. А здесь уж ничего нельзя поделать.

Я уловил потребность Данилыча сказать что-то важное, просящееся наружу.

— На ровных полях этих потерь нет, а вот на склонах есть. Почему такое получается? Потому что сам комбайн устроен так: пока идет по ровному полю — решета ровно стоят, а как только накренился — решета тоже накренились, зерно и потекло в солому.

— Как же устранить это?

— По-моему просто. Грохот надо на гидравлику переводить, чтобы маневрировать им можно было, чтобы при кренах комбайна выравнивать угол наклона решет. Тогда пожалуйста: попался, предположим, склон, а решета все равно выпрямлены. Зерно и не пойдет в полову.

В тот вечер мы допоздна работали на поле. Проскурин спешил обмолотить валки начатого загона...

Знобкий ночной холодок обволакивал щеки, нос, забирался за воротник. Данилыч, натягивая фуражку на уши, заключил:

— Изморозь идет. По утрянке трудновато придется.

Нам все же не удалось убрать загон: валки повлажнели, разбухли, барабан стал забиваться. Мы остановили машину и пошли спать в солому. Но уже на восходе солнца завели комбайн, не признавая ни холодка, ни росного гололеда. Данилыч не спеша повел машину, а я шел впереди с палкой, обстукивая от наледи валки. Так продолжалось часа полтора, может быть, два.

Поднявшись уже высоко, солнце пригрело, обласкало степь, и работа закипела. Передавая мне штурвал, Проскурин задумчиво проговорил:

— Съезжу на ток, а ты теперь так вот и держи.— И, замахав попутной машине, побежал от комбайна.

За работой я не заметил, как наступило вечернее время. Проскурин приехал какой-то взвинченный. Заскочив на мостик, тут же принялся изливать свою досаду, но в беспорядочном нагромождении слов его трудно было понять.

— Ты понимаешь? Дым возят на ток! Липу, понимаешь, всякую!.. Заморочить мне голову хотят!..

Я дал ему выговориться и попросил объяснить все толком. Суть дела оказалась вот в чем.

По опыту прошлого года приблизительные подсчеты Проскурина зародили в нем сомнения в правильности учета намолоченного хлеба. Он на глаз прикидывал урожайность по участкам, брал заниженный процент потери при обмолоте и, сопоставляя свой подсчет с выкладками бухгалтерии, удивлялся внешнему благополучию. В бухгалтерии он не раз говорил об этом, но внушить всю серьезность своих опасений так и не удалось. У нас, мол, учет налажен неплохо, поступление зерна от комбайнов на ток контролируется квалифицированными людьми — словом, кому интересно замахиваться на свой престиж?

Теперь Проскурин решил на протяжении одного дня проконтролировать поступление зерна на тока. Некоторые командировочные шоферы, и даже два местных, оказалось, привозят хлеб на ток, взвешивают, отмечают в накладной и, не разгружаясь, едут на другой ток. Ему, шоферу, ходки нужны, а на токах — дым.

— Досадно то,— негодовал Проскурин,— что еще и кипятятся, будто на мозоль им наступил. Нам, дескать, по бездорожью от комбайна до тока ездить выгоды мало. Ну не безобразие ли, кого обманываем? Вот тебе экономия, бережливость...

Уже на другой день к вечеру прямо на полевом стане состоялось заседание выездного бюро парткома. В коротких словах, по-

деловому вопрос был обсужден всесторонне. Бюро обязало коммуниста Ахметова, главного бухгалтера совхоза, в самый короткий срок навести порядок в учете намолоченного зерна, а виновных в приписках привлечь к строгой ответственности.

В заключение секретарь парткома Николай Филиппович Рыбка сказал:

— Многие командировочные шоферы работают честно и подобными делами не занимаются. Вот хотя бы Донского взять или Денисова, Сухов тоже. К делу относятся серьезно, а о приписках нечего и говорить: сами Проскурину помогали уличить нерадивых. А вот те, которых назвал здесь Михаил Данилович,— люди случайные на хлебной ниве. Их воспитывать надо, особо тщательно контролировать.

Обратившись к главбуху Ахметову, спросил:

— Выходит, не зря Данилыч еще в прошлом году вас теребил по этому вопросу?

— Да, Николай Филиппович, признаю: прав был.— Потом полушутя добавил: — На то и щука в море, чтоб карась не дремал. Не зря Данилыч возглавляет народный контроль.

Здесь, на заседании бюро парткома, решено было также направить в помощь председателю группы народного контроля опытных хлеборобов из числа коммунистов, с тем чтобы в ближайшие дни провести полную ревизию на токах.

Перед самым закатом к нашему комбайну вместе с Проскуриным приехал главный

бухгалтер Ахметов. Слышалось, как он говорил:

— Большое тебе, Данилыч, спасибо. Теперь понятно стало, отчего иной раз в учете намолоченного хлеба концы с концами свести не можем...

Солнце осторожно все сползало, сползало к далекому фиолетовому гребню, унося свет и тепло. Багровея и ширясь, оно окоемочкой коснулось наконец темного лезвия горизонта, поползло в землю неслышно и мягко, как в шоколадное масло. Объятая тихой печалью степь прощалась с утомленным светилом до утра.

Назавтра приехал к нам бригадир Петр Степанович Мазуренко и, глядя в блокнот, подвел итог за вчерашний день. Вышло, что вчера, хоть гололедик и ложился на валки, мы подобрали тридцать гектаров, намолотив пятьсот двадцать центнеров пшеницы.

— Более чем по сто пудов с гектара идет,— сказал он.— А у Данилова и ста не выходит, хотя пшеница там, как лес, густая стояла.

Проскурин окоротил его:

— Не спеши, Петр Степанович, перетрях ему устраивать. Сегодня он больше намолотит, я уже у него был.— И, обратившись ко мне, сказал: — До завтрака сам управишься, а я пойду душу маленько отведу. Гуси скоро начнут летать.

Он взял ружье, направившись к дальним копнам соломы.

С озера Конуртюбек на стерню уже тянули дикие гуси. На фоне темнеющего неба они казались неправдоподобно большими. Набалованные безнаказанностью в полевых пирушках, они не боятся ни шума машин, ни близости человека. Их слетается такое множество, что поле от скопища их шей кажется усеянным мириадами кобр.

Мне видно с высокого мостика, как затаился Данилыч за копной соломы, а гуси уже садятся поблизости от него. Я жду выстрела, но время тянется, а выстрела все нет.

Вдруг птицы взлетели неожиданно, разом, и, качнувшись в мощном развороте, темной тучей понеслись к озеру. Проскурин вышел из-за копны. Он нес за ремень ружье, как легкую дровяную вязанку, всем своим видом напоминая не охотника, а скорее грибника, побродившего всласть.

— Что ж, так и не бабахнул? — участливо спросил я, когда он подошел.

— Жалко их, супротивных. Пускай кормятся!

Он положил на солому дробовик, присел на копне, скрестив на коленях руки.

— Не пропадать же потерянным зернам, а птице на перелет силы много потребуется.

Мне по-своему, по-охотничьи, было жаль его, а он, должно быть, нисколько не нуждался в этой жалости. Встал и, поднявшись на мосток, сказал:

— Трогай, солнце вон уже как размахнулось...

Эпилог

Незабываемой останется в моей жизни осень, когда я работал помощником комбайнера у коммуниста Михаила Даниловича Проскурина. Я познал тогда всю сложность почетного, вдохновенного труда хлебороба. Познал через доброе сердце Проскурина. Говорить о нем можно очень много, но всего не перескажешь. С ним надо вместе пожить, поработать. Он ни перед кем не таит себя, но в нем тем не менее живет тайна скрытого действия.

Вроде бы незаметный, он вездесущ. Неспокойный, нетерпимый к малейшему злу, этот человек всем нужен, и даже тем, кто называл его «придирой». С ним всегда чувствуешь себя спокойно, надежно. Он умеет в любую минуту удивить тебя решением, действием, и никакой не будет ошибки, никакого промаха.

Меня поражает энергия, неугомонность этого человека. Он уже получил право на пенсию, но с хлебной нивой не расстается: в первый казахстанский миллиард внес весомый вклад, намолотив тысячу тонн зерна. Решением областного комитета партии, облисполкома и облсовпрофа ему было присвоено звание «Гвардеец жатвы 1972». Ощутимый вклад вложил он во второй миллиард, работая наладчиком комбайнов и возглавляя группу народного контроля совхоза.

Я рад, что посчастливилось мне встретиться и поработать с ним. Возможно, это и есть то самое, что принято называть судьбой, разумеется, без всякой ее фатальной окраски. По законам нашего образа жизни зарождаются, крепнут контакты между людьми, связанными единой целью. Удивительно, что контакты эти обнаруживают такую взаимоудовлетворяющую общность, которая начинает вписываться в человеческую жизнь как счастливая страница биографии.

Весь процесс освоения целины, по существу, происходил на моих глазах. Это было не просто переселение людей с одной, давно обжитой земли на другую, как приехали на целину Спиридонов, Проскурин, Звягинцев, Быков, Троценко и многие другие. Это стало новой судьбой людей, слагающейся из огромного круга новых общественных интересов, новых потребностей, понимания задач, поставленных партией перед народом.

...В середине марта 1974 года, когда вся наша страна праздновала славный двадцатилетний юбилей целины, приехал я в совхоз имени Калинина Целиноградской области, где живет и работает вот уже более полутора десятков лет Михаил Данилович Проскурин.

Сразу же пошел на машинный двор. Сердце взволнованно застучало: «Так ты к нему согласился? Он тебе покажет, где раки зимуют, на третий день сбежишь...» У длинного, теперь уже одетого со всех сторон сарая стоял «Кировец» с тележкой. Тракторист Александр Лунев сбрасывал на землю какие-то металлические предметы. Увидев меня, по-

здоровался и с напускной серьезностью по-проскурински сказал:

— Валяется штука на дороге. Не могу, понимаешь, мимо проехать: человеком сделана.

И расхохотался. Затем поведал мне, что Проскурина пригласили на работу в местную десятилетку учителем производственного обучения. Я поблагодарил Лунева и, шагая в школу, подумал: «Многие молодые ребята пойдут теперь по хлебной стезе Проскурина...»

Я шел и радовался этой мысли, а пурпурное солнце, прорезая кромку земли, уже разливало свет над целинным Притенгизьем.

Содержание

Волков Юрий Васильевич

СВЕТ НАД ТЕНГИЗОМ

Заведующий редакцией
В. Д. Ветров

Редактор
В. В. Онуфриев

Младший редактор
М. В. Казанцева

Художник
Ю. П. Шашков

Художественный редактор
В. А. Тогобицкий

Технический редактор
Н. Е. Трояновская

Сдано в набор 15 января 1976 г. Подписано в печать 30 марта 1976 г. Формат 70×90[1]/32. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 6,14. Учетно-изд. л. 5,68. Тираж 100 тыс. экз. А 00053. Заказ № 1323. Цена 25 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд. «Звезда». г. Пермь, ул. Дружбы, 34.

25 коп.

Ю. В. Волков — автор книг «Хозяева земли», «За барханами — Курты», «Огни Темиртау» и других. Живет и работает среди целинников Казахстана, хорошо знает их труд, повседневные заботы.

В повести «Свет над Тенгизом» Ю. В. Волков рассказывает о жизни коммуниста, знатного механизатора Михаила Даниловича Проскурина.

Интересна и поучительна судьба этого человека. Беспокойный, нетерпимый к малейшей несправедливости — таким предстает перед читателем герой этой повести. В конце пятидесятых годов приехал он на казахстанскую целину убирать хлеб. Приехал, да так и остался в совхозе. Он кавалер многих боевых и трудовых наград.

